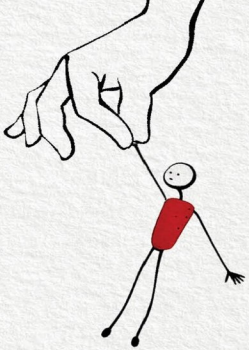
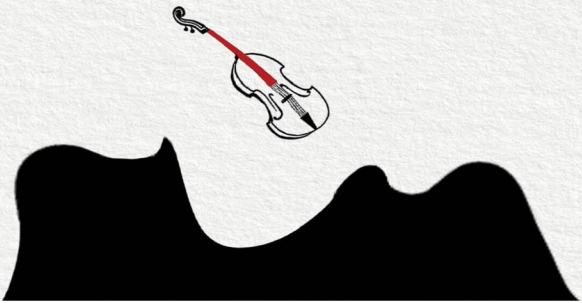
INSPIRIA

18+



НИЩЕТА

АНЖЕЙ ТИХИЙ



INSPIRIA

Нищета
Анжей Тихий

Аннотация
Анжей Тихий. Нищета

Аннотация

Мальмё, Швеция. На автобусной остановке виолончелист встречает бездомного наркомана. Это мог быть я. Музыкант уносится мыслями в свое прошлое: о музыке – старой и новой, о классике, джазе, рэпе, о бедности, потере близких и тяжелом физическом труде, чтобы просто выжить.

Это не будет история о том, как бедный мальчик стал известным виолончелистом. Это гимн маленькому человеку, тем, кто не преуспел, как бы усердно они ни боролись. От разросшихся жилых домов до андерграундных клубов и сквот-тусовок «Нищета» – это стремительное путешествие по изнанке европейских городов.

«Полифония голосов тесно вплетена в повествование, напоминающее сложную музыкальную композицию. Книга обрывается резко, как могла бы закончиться авангардная музыка, но ее вибрации продолжают наполнять воздух». – The Guardian

Анжей Тихий
Нищета

© Шаболтас А., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательствво «Эксмо», 2023

Одна лишь противоречивость и является доказательством того, что мы не есть всё. Противоречивость – это наша нищета, а чувство нищеты – это чувство реальности. Потому что наша нищета не нами создана. Она настоящая. Именно поэтому ее нужно лелеять.

Симона Вейл. Тяжесть и благодать [1]

В последний день — вечером в пятницу в начале октября, — стоя внизу у канала, около покрытой гравием дорожки между водой и зданием полиции, я ждал гитариста и композиторшу. Я стоял и думал о восковом плюще, чьи бело-розовые ароматные лепестки распустились за ночь, и о кое-каких уроках, которые, как мне казалось, я смог вынести из напряженного и в одинаковой мере удачного исполнения пьесы Шельси на утренней репетиции. И как раз, когда я безуспешно пытался вспомнить имя итальянского философа, написавшего длинное и исключительно глубокое эссе о произведениях Шельси и значении этого композитора, ко мне подошел парень и спросил, не найдется ли у меня монетки для бездомного; порывшись в правом кармане, я

---

[1] Примечания: 1
Перевод Н. В. Ликвинцевой.

нащупал купюру в двадцать крон, неровно сложенную, помятую, и отдал ему. Он молча взял ее и сунул в карман своей черной куртки, капюшон которой, отделанный мехом, скрывал бóльшую часть его головы. Я стоял, и курил, и видел, что он смотрит на сигарету, следя за ней глазами. Я это видел, но не угостил его. Я посмотрел на него, прямо ему в глаза, и не испытал страха. Это был молодой парень, некрупный, хилый, и я подумал, что, если он дернется, я без проблем собью его с ног. Даже если у него есть нож или пистолет. Он смотрел на сигарету, которую я поднес к губам. Я затянулся, а затем моя рука опустилась от подбородка вниз к животу, примерно до пупка, и я увидел, как он отследил движение взглядом. Я выдохнул. Дым и огонь, бумага и табак. Я бы мог предложить ему сигарету, но не подумал об этом. Он бы мог попросить, но не сделал этого. Еще я заметил, что он смотрит на мой велосипед, прислоненный позади меня к деревянной скамейке или, может, к электрощиту. Потом он сказал, что ночью, прошлой ночью, его избили. Он сказал: Я не знаю, где мне ночевать, и меня вчера избили. Он сказал, что кто-то ударил его по ребрам и по лицу. Я посмотрел на него и увидел синяк и маленькую ссадину на левой щеке, на скуле.

Я спросил: Кто тебя избил? Он ответил что-то неразборчиво. Он произнес имя. Язык двигался у него во рту. Он промямлил имя, которое я не разобрал. Я спросил почему, и он пролепетал, что они *слишком много торчат*. Он сказал: Он — шлюха. От этих слов я немного попятился, как будто их резкость была слишком интимной, и тут же вспомнил Роберта, друга детства, с которым недавно столкнулся, солнечным днем у моря, около поля Лимхамнсфельтет перед любительским матчем. Мы много лет не виделись. Теперь он был здоровым и накачанным, ничуть не напоминая того тощего подростка, которого я помнил, и он рассказал мне спокойным тоном, без стыда или раздутого хвастовства, что сидел, что, когда его застигли врасплох при взломе, он ударил одного парня отверткой. Роберт отсидел пару лет, освободился и нашел работу на каком-то заводе оптики или чем-то подобном. Он сообщил, что сейчас все нормально, что хорошо иметь работу. Я коротко рассказал, чем занимаюсь последние годы. Упомянул среднее образование, музыкальный вуз и будни музыканта-фрилансера. Все нормально, добавил я и заметил, что полная занятость — это хорошо. Он ответил, что она у него не полная. Он работает по часам. Но работы хватает, сказал он.

Потом он спросил, езжу ли я в Прагу. Я сказал: Нет, последний раз был там пару лет назад. Он заметил: Офигеть какие классные шлюхи в Праге. Я промолчал, скользнув взглядом по свеженанесенной боковой линии, до самого углового флажка, маленького оранжевого знамени на сильном ветру. Когда я снова посмотрел на Роберта, он уже отвел взгляд. Не знаю, что произошло. Думаю, мы пожали руки и сказали: Да-да, не кисни, чувак, счастливо! А потом мы разошлись. Ветер поднимал большие клубы пыли над сухими гравийными площадками. Я смотрел вслед Роберту, смотрел на его лопатки и мышцы спины и думал, что должен это кому-нибудь рассказать, но так и не рассказал, даже гитаристу с композиторшей. Я стоял, смотрел ему вслед и вдруг вспомнил, как однажды он мне помог в дворовой драке. Я дрался с Карлосом, вроде из-за девушки, Виктории, она была рядом, вроде накрашенная — ее я как-то встретил ночью много лет спустя, когда покупал бургер в киоске на площади Мёллевонгсторгет, она там работала, стояла в униформе сети «Сибилла» и жарила картошку во фритюре, притворяясь, что не узнает меня, — и я удерживал Карлоса в каком-то захвате, так что он не мог дышать, а кофта у него задралась, оголив поясницу, и тогда

вперед, с зажигалкой и банкой с каким-то спреем, типа дезика, выскочил Роби, поджег газ и подпалил Карлосу спину. Всего три-четыре секунды, но тот заорал, и я отпустил его, и он попятился и остановился перед кирпичной стеной, и по нему мы видели, что он проиграл, что он боится и готов сдаться. Но фишка в том, что он был моим приятелем. Он был маленьким крепким чилийцем. Умным математическим вундеркиндом. Вроде жил у родителей отца из-за того, что отец наркоманил и бухал, — пару раз, много лет спустя, мне показалось, что я его папу видел, тот сидел на скамейках у площади Вэрнхемсторгет, и каждый раз мне приходилось сдерживаться, чтобы не подойти и не спросить, что случилось с его сыном, с его маленьким Карлито, моим другом, — а что с его матерью, я не знал. Вроде она была шведкой, не помню, видел ли я ее когда-нибудь. Там вроде проблема имелась с родительскими правами, по крайней мере, когда он был младше, типа в начальной школе. Однажды, когда мы учились во втором или третьем классе, к площадке у супермаркета, около школы, подъехала машина, оттуда кто-то выскочил и затащил Карлоса внутрь, в разгар перемены, когда мы во что-то играли, в шарики или что-то вроде того,

и нам показалось немного странным, что кто-то может просто возникнуть из ниоткуда и просто затащить ребенка в машину, как будто это происходило в кино, а не в реальности. Но мы ведь все сами видели. Что это могло значить? Точно не помню, к чему мы тогда пришли. Через пару дней Карлос вернулся и наврал что-то, ему никто не поверил, но больше мы об этом не говорили. Жили обычно очень просто. Дома, как правило, строили из глины или обмазывали глиной, часто в них была всего одна комната. Большинство домов имели плоскую крышу, в таком жилье семья могла отдыхать, спать и работать. Крышу делали из хвороста, глины и земли. После сильного дождя ее приходилось подравнивать. Много лет спустя я услышал, что он наркоманил и тусовался с малолетками, заставлял их выполнять поручения, чтобы, видимо, самому не загреметь в тюрьму, но в школе кто-то сказал детишкам, что не стоит с ним водиться, тогда он пришел в школу и стал угрожать учителям. Не знаю. Что тут скажешь? Так глупо. Эта фишка про взгляд. Может, это все выдумки, что нельзя опускать глаза, ну, ты понимаешь. А если опустишь, то ощущения так себе. Что тут скажешь? Тут на самом деле нет ничего странного, даже если ты считаешь иначе.

Мы с Робертом, наполовину поляком, обычно тусовались с польским цыганом по имени Тони, мы звали его Монтана [2], серьезно, и он расхаживал в костюме и, прикинь, с золотой цепью и цацками — полный набор, — любил засовывать сотки под пленку или, как там это называется, на пачке сигарет, выпендривался, как мы говорили, и вот один раз я встретил его у школы — ну, знаешь, я ему нравился, не представляю почему, может, потому что мы иногда болтали на польском, и он был слишком молод, чтобы понять, что это ничего не значит, ну что поляки ненавидели его так же, как шведы, не знаю — короче, я подскочил к нему, а он стоял там с велосипедом, цепь слетела, такой шоссейник из 80-х, и тут я говорю, что его легко починить, просто переверни велик вверх колесами и мы все поправим, но он такой: нет, забей, измажешься только, оставь, пойдем, давай со мной к Лусиано, моему брату, в Круксбэк, и мы пошли, и он сказал, ты клевый, можешь брать мои сиги, пока идем, и он достал пачку «Мальборо», но тут он вдруг взбесился и сказал, что потерял сотку, которая там лежала, и, пока

[2] Примечания: 2

Тони Монтана — герой драмы Брайана Де Пальмы «Лицо со шрамом», экранизированной в 1983 г. Оливером Стоуном. — *Здесь и далее прим. перев.*

мы шли, навстречу попался парень, нам не знакомый, но я видел его в школе, учился в девятом классе, ботан, швед, и когда он проходил мимо, Тони такой: слышь, почини мой велик, и парень такой: не могу, не знаю как; в смысле? — говорит Тони, в смысле не знаешь как? — просто поправь гребаную цепь, чувак, это просто, сделаешь на раз-два, и до смерти напуганный парень снова такой: но, но, но я не знаю, и все такое; и Тони подскакивает и с разворота бьет его в голову, попадает типа по щеке, не очень сильно, без крови и все такое, но все равно я немного офигел, и вот парень уже на коленях, руки трясутся, возится с цепью, руки все черные, я сказал Тони, успокойся, но я ведь сам его боялся, как и все, в конце концов мы все починили втроем, Тони держал велик, а я крутил педали, и парень, по-моему, его звали Даниил, как того со львом из Библии, или как в той песне Элтона Джона [3], и парень возился с маслянистой цепью, пока та не встала на место, потом он свалил, а мы выкурили еще по сиге, и потом он, Тони, уехал на велике, а я пошел дальше, между делом высматривая на земле сотку, которую он, возможно, потерял. Реально, мне

[3] Примечания: 3

Имеется в виду хит Э. Джона и Б. Топина «Дэниел» (Daniel) из альбома «Не стреляй в меня, я всего лишь пианист» (1973).

ведь не нравилась его манера — наезжать вот так на невиновных — по крайней мере, так я тогда считал, а может, именно это мне и нравилось, может, мне было интересно и немного прикольно, немного забавно наблюдать, как на кого-то наезжают, когда я сам в этом не участвовал, не знаю — но все равно Тони мне нравился, у нас была какая-то связь, и однажды он мне помог, когда я повздорил с парнем из особняка, из Бельвю, с богатеньким сынком (я нашел его в сети много лет спустя, тогда он стал довольно известным поваром), который запрыгнул в окно, когда у нас шел урок, ну по некоторым предметам я ходил в так называемый коррекционный класс для трудных учеников, нас там было немного, и там, правда, было поспокойнее, но он запрыгнул и начал ругаться с пацаном по имени Ларс, тот был очень маленьким для своих лет, сидел на гормоне роста и все такое, и второй парень, который богач, он был на год-два нас старше, так что я влез между ними и позадирался немного, потом его выкинули вон, а мы с ним снова столкнулись и начали драться, но молотили друг друга недолго, пока нас не разняли учителя, и тогда кто-то закричал, что

мы должны встретиться у холмов [4] в полдень, и потом мы там встретились и дрались, он отбил мне кусочек переднего зуба слева, я все еще чувствую неровность языком, сегодня, типа двадцать пять лет спустя, и, видимо, пара моих ударов и пинков попали в цель, достаточно удачно, чтобы до него дошло, что нельзя меня унижать просто так, и в итоге мы устали, и круг зрителей поредел, и мы перестали драться, получилась типа ничья, но фишка в том, что позже об этом узнал Тони и пошли слухи, что он собирается богача убить и, прикинь, все знали, что он чокнутый, и у нас был еще один товарищ, Марцин, поляк, они с богачом столкнулись на парковке, началась драка, ничего серьезного, но знаешь, Марцин был из Русенгорда и имел там кучу приятелей, ну а Тони знал всех цыган в Мальмё — так вот пошли всякие слухи, и то ли богач зассал, то ли кто-то настучал, но в итоге учителя вызвали меня и богача на что-то типа мирных переговоров, хотя я больше не имел к этому отношения, мы ведь типа сошлись на ничьей, но теперь мы там сидели и должны были извиниться, пожать руки и все такое, не помню, чем они угрожали, но я это

---

[4] Примечания: 4
Имеется в виду территория парка Круксбэкс в Мальмё.

сделал, и он тоже, и я попросил Марцина с Тони дать задний ход, и они так и сделали, а потом, как я уже говорил, он стал поваром, кажется, довольно известным, но все равно был типа свиньей, я же помню, что он жил в особняке, разъезжал на своей новой гребаной «Хонде МТ-5», пока мы с Родриго делили угнанный мопед «Пуч Макси» со сломанным передним колесом, мы сперли его у Хамзы, который, естественно, спер его еще у кого-то, и это было не то чтобы безопасно, ведь Хамза был совершенно безбашенный, стрелял людям в глаза из мягкой пневматики и все такое. Что тут скажешь? Жили обычно очень просто. Мы, то есть я, Карлос и близнецы Кассем, Роби и кто-то еще, частенько сидели на лестнице и жгли пластик. Банки, пакеты, все подряд. Не знаю, почему нас это так завораживало. В основном мы говорили о звуке капающего на каменные ступеньки пластика. Хлюп, хлюп, капал он, и всю эту игру мы называли «хлюп-хлюп». Вроде началось все с того, что кто-то научил нас делать маленькие дымовые шашки из шариков для пинг-понга и фольги. Сначала добываешь шарик и фольгу, заворачиваешь в нее шарик, она должна быть ровной, не мятой, а затем поджигаешь, фольга сгорает, шарик начинает медленно

гореть и сильно дымиться. Дым разъедает глаза. Домá обычно делились на две части, одна для людей и одна для животных. Там, где жила семья, делалось небольшое возвышение с утоптанной глиной в качестве пола. Окна были маленькими, без стекол, а свет давали небольшие масляные лампы. Семья простого крестьянина почти не имела мебели, кроме пары грубых шкур для сна. Женщина отвечала за хозяйство — готовку еды, уборку, прядение, плетение и шитье. Она также помогала в поле, иногда на виноградниках и учила детей, пока они были маленькими. Ели, как правило, два раза в день — легкий завтрак с хлебом, фруктами и сыром и вечерний прием пищи, состоящий из мяса, овощей и вина. Так и шли годы. Он пробурчал что-то про наркотики. Я спросил, какие наркотики, и он сказал: Слишком много всяких. Руфи, спиды, гера. Слишком много. Урожай зерна, урожай чечевицы. Зреет ранний инжир. Не знаю, где буду ночевать сегодня. Урожай винограда. Сколько тебе лет? Урожай оливок. Двадцать четыре. Он делает вдох. Летний инжир, финики. Ступай. Будем за тебя молиться. Зимний инжир, пахота. Посев. Урожай лимонов. Еще год прошел. А он, как идиот, сказал, что в этом ничего хорошего. Он сказал: Братан, знаешь…так

не пойдет. И я вроде как кивнул и одновременно покачал головой, потому что я знал и не знал, и сказал: Я знаю, брат. А потом я ушел. И все продолжало крутиться у меня в голове. И он, как идиот, сказал, что в этом ничего хорошего, в той жизни, которой я живу, ничего хорошего, чувак, ты молод и все такое, и я ответил, что я знаю, чувак, я не дурак, и он, как старший брат или, может, папаша, нет, не как папаша, тогда бы он меня поколотил, так я подумал, что он, как говорится, вправил бы мне мозги, как настоящий папаша, но нет, и он снова сказал, что в этом ничего хорошего, сказал, что тоже *подобным занимался*, говорил, как полный придурок, но что он завязал, что он абсолютно *чист*, абсолютно *clean*, и я посмотрел на него, как на брата или кого-то вроде, клянусь, он сказал: Он больше не торгует, больше не накуривается, клянусь, я сказал, типа поднял на него глаза и сказал: Ты че, совсем завязал? Ходил обдолбанный и грязный, как тень, вдоль обочины в черной куртке, надвинув капюшон. Кожа в трещинах и влажная, пропахшая табаком одежда, из которой торчала голова и лицо. Ходил и щелкал зажигалкой в кармане. Я ответил: Да, брат, у меня теперь дети, семья и работа, теперь все должно быть нормально, слушай… так не

пойдет. И потом прошло несколько лет, и потом я снова проходил мимо, и потом он посмотрел на меня и сказал *мне стыдно за тебя* и потом *черт, какой ты стремный, чувак*. Я ушел. И все крутилось у меня в голове, всю ночь, все ночи. Потом пришел гитарист, и композиторша вздохнула: опоздали, и по гитаристу я увидел, что он перенервничал, и он извинился, и я сказал, что ничего страшного, и композиторша сказала, что вроде у нас еще много времени, и мы пошли, и я как раз собирался рассказать о торчке, как гитарист спросил: А помните?

За ночь распустились цветки воскового плюща, и утром, во время репетиции, я видел, как они дрожат не из-за — как я сначала, немного самоуверенно, себе вообразил — виолончели, чьи струны я изо всех сил старался укротить согласно наставлениям Шельси (или, скорее, наставлениям одного его толкователя, у Шельси ведь был помощник, так называемый негр, писавший для него ноты; Тосетти, или как там его звали), а из-за товарного поезда, который проехал в двухстах-трехстах метрах мимо моего дома, отчего мое окно и весь дом слабо загудели на низких частотах, и, наверное, в лице торчка, в белках его глаз, я увидел что-то, что снова навело меня на эти

мысли о жестких бело-розовых лепестках, вибрирующих и блестящих, в равной степени мертвых и живых. Мы шли вдоль канала, и гитарист сказал: А помните, что мы слушали, сколько, почти пятнадцать, шестнадцать, семнадцать лет назад? Того самого Лорена Коннорса. Его альбом «Airs»? Я плохо слышал, что он говорил, приходилось напрягаться, чтобы совсем не отключиться. Это ведь его звали Маццакан? — спросила композиторша. Да, точно, сказал гитарист. Ага, кивнула композиторша, доставая тем временем пакетик с какими-то таблетками для горла, лакричными или мятными пастилками. Ну да, помню такой типа импрессионизм, когда он просто долбит по кругу, по кругу какой-то типа минорный аккорд. Она протянула нам пакетик. Гитарист взял одну пастилку, а я чуть покачал головой. Да, сказал гитарист, перекатывая языком конфетку, что напомнило мне слегка ватный, слюнявый рот торчка, наверное, он использует строй Open C [5] и получается так, как будто он играет слайдом, но без слайда, а просто по кругу, по кругу, по кругу, и все мелодии одинаковы, все время какая-нибудь пентатоника, так мне во всяком случае кажется,

[5] Примечания: 5

Имеется в виду гитарный строй, в котором на открытых струнах звучит аккорд C (до).

и вроде это не должно работать, но работает, звучит не так китчево, как можно ожидать, и, думаю, тут дело в ритме, в том, что он неровный, текучий, парящий, такое впечатление, одно то, что он называется «Airs», что значит воздухи, типа множественное число от слова «воздух», так ведь нельзя, хотя альбом к этому не имеет отношения, он явно уходит корнями в кельтскую или ирландскую арфовую музыку, сказал он, и я попытался что-то сказать, но типа завис и вместо этого достал еще сигарету и закурил, и снова попытался что-то сказать, но не смог, как будто что-то сломалось, треснуло, лопнуло, палочка или ниточка, необходимая для речи, а мы шли по гравию, который ритмично трещал и хрустел, и композиторша слушала, а я слушал и не слушал, и гитарист продолжал говорить о Коннорсе: Тут нужно особенно отметить Торлу О'Каролана, типа XVIII век, по крайней мере в XVIII веке он умер, в 1738-м вроде, не знаю, родился он в XVII веке, то есть тогда ведь жили недолго, ну да ладно, последнее произведение, что он написал, уже типа на смертном одре, называлось «Carolan's Farewell to Music» [6], и вот это мне нравится, то

[6] Примечания: 6
«Прощание Каролана с музыкой» (*англ.*).

есть что он прощался не с жизнью, не с миром, а с музыкой, и… Он запнулся. Я набрал воздуха и сказал: Ага-а, значит, он не верил, что получится писать музыку после смерти. Ясное дело, что нет, сказал гитарист, и мы шли дальше вдоль канала, и я смотрел вниз на гравий, вниз на камни гравия, и слышал вот эти звуки, и я почувствовал что-то, какую-то разлитую боль, и я размышлял, типа фоном, пока говорил, не рассказать ли им что-нибудь. Но что? Я не хотел сгущать краски. Это чувство, боль, которую невозможно описать и найти ее источник, была хорошо знакома, но неосязаема. Что я мог сказать гитаристу и композиторше? Какие слова подобрать? Возможно, это нельзя объяснить, возможно, это нельзя описать, нельзя говорить об этом, думать об этом, это, как говорится, хоть убей, невозможно, наверное, мне не стоит это упоминать, наверное, лучше просто промолчать, продолжать слушать, наверное, она потом сама пройдет, так я размышлял, а мы шли дальше, мы шли дальше вдоль канала, бок о бок, и я услышал голос композиторши, и тут же вспомнил брата Роби, который тоже сидел за что-то, и угловой флажок, и облако над гравием, и у меня пересохло во рту, я вдохнул и взглянул наверх на высотное здание перед нами, увидел, что там на

крыше кто-то шевелится, и подумал о Копенгагене, куда мы собирались на концерт в Церковь Богоматери, в кафедральный собор — где Моосманн должен был, помимо прочего, сыграть «In Nomine Lucis» [7], — и я подумал о Санне из Копенгагена, и я слышал голос композиторши, но не мог слушать, потому что одновременно слышал голос Роби и видел, как удаляется спина Роби, она становилась все меньше и меньше, но голос у меня в голове оставался таким же настойчивым и звучным. Офигеть, какие классные шлюхи, сказал Роби, и я подумал о Санне, которая упала с четвертого этажа и каким-то образом пережила тот прыжок, то падение, Санна, выросшая на Центральном вокзале, воспитанная, как она сама говорила, клиентами проституток на Сенной площади, там была группа, не знаю, из пяти-шести детей тринадцати, четырнадцати лет, которые держались вместе. Санне называла их «девочки со спичками» и «гадкие утята», она работала психологом в кризисном центре, куда они иногда приходили (не совсем понимая, размышляю я сегодня, как такая характеристика, такие сравнения на них влияли). Чаще всего они обитали в

[7] Примечания: 7
«Во имя Света» (*лат.*).

центральных районах Копенгагена — Вестербро, Норребро, Эстербро и Кристиания, — но бывало, что я навещал Санне в квартирке в Исхое, где жил ее брат. Я встречал их в Кристиании, по дороге в Орхус, Гамбург, Марсель или Стамбул, и мы сразу узнавали друг друга, так мне помнится. Мы — как она говорила, несостоявшиеся аборты, — все находились в одном месте, в месте, где сильно штормило, куда приходили, сбегая от всего, от мглы и насилия, чтобы раствориться в чем-то другом, в другой мгле, глухоте, покое. Ночами мы бродили, спали на лестнице, скамейках и в парках, на кладбищах и у разных в большей или меньшей степени мерзких людей, на которых случайно наталкивались или потому что у них было то, в чем мы нуждались, чаще всего деньги. Санне. Нико, Вотан. Виви. Лис, чертов хиппи. И я заметил, что гитарист задал мне какой-то вопрос, так что я взглянул на него, пробормотал пару слов и кивнул, а он тем временем повторял: Это *не должно* работать, но *все-таки* работает, несмотря ни на что, то есть все это довольно круто, парящие, легкие мелодии, и я думал о ребрах торчка, думал о боли и думал обо всех сотнях, а то и тысячах раз, когда оттачивал удары в корпус в разных залах, где с потолка капал конденсат, на

пол, на нас, где мы методично били мешки или боксерские лапы, методично били прямо и сбоку, и я вспомнил те три раза, когда нанес особенно сильные удары, сокрушительные, что называется, удары, один раз гражданскому, хотя я не знал, был ли он копом, и потом он ничего не сделал, так как был один и застыдился того, что я вынес его с одного удара, и один раз какому-то мутному типу в клубе, и последний — нацику, который поругался со мной в ночном автобусе, — и все три раза это были исключительно удачные, тяжелые удары, после которых редко кто поднимается, и во всех случаях я действовал так, что просто поднимал левую руку и касался их лица, легким шлепком, легким, очень легким, не бил, а чуть ли не гладил, чтобы заставить их рефлекторно поднять руки для защиты, оголив туловище, ребра, селезенку, а сам тем временем занимал позицию для удара в корпус, то есть немного отступал назад, выставив вперед правое бедро и плечо, и потом оставалось только со всей силы, используя ноги и бедра, нанести хук, резко, как кнутом, держа локоть под идеальным углом, немного вверх и наискосок, и смотреть, как эти типы сползают вниз со сломанными ребрами и таким выражением лица, которое как бы говорит *нет,*

погодите, что происходит? — но еще я вспомнил о том случае, когда сам получил трещину в ребре, после того как меня пнули в грудь, и ту боль — я так отчетливо ее помню, — то дыхание, такое поверхностное, осторожное, чтобы избежать боли, ту совершенно отвратительную боль, и противоречивые чувства, от того, что именно дыхание эту боль вызывает, а не дышать человек не может, он ведь должен дышать, ведь должен жить, и я не услышал, что сказал гитарист, и я почувствовал, что должен собраться, сконцентрироваться, так что я сфокусировал на нем взгляд и спросил: *«Airs»?* Как воздух? Человек ведь должен жить, снова подумал я. Да, как воздух, сказала композиторша. Как кроссовки, у тебя нет таких? Ну, смотри, она показала на мою обувь, на мои ноги, вниз на гравий. Как «Найк Эйрз», сказала она. Множественное число, воздух во множественном числе. Воздухи? — спросил я. И гитарист ответил: Да, так. И продолжил: Но тут нет никакой связи. Ну или в каком-то смысле есть, air или ayre, означает типа песня или мелодия и на самом деле родственно арии, которая происходит от air или aer, ну то есть… он на мгновение потерял нить… хочу сказать, тут есть структура, сказал он, она заключается в, почти заикаясь сказал он,

заключается в, в, в том, что музыка там в колебаниях, в, в, в этом нет ничего странного. Хотя можно подумать… Тут я его перебил. Да, сказал я, звук — это ведь воздух, и… то есть я имею в виду… Я вдруг ощутил усталость и захотел пить, как при похмелье, только алкоголь я не пил. Ну, сказала композиторша, не совсем, но хорошо, типа колебания в воздухе, давление… Я зевнул. Изменение давления, да, конечно, это важно для обработки мелодии, или для остаточного звучания, резонанса, продукта, реверберации, не знаю, сильно ли глушат струны, играя на арфе, по-моему, вообще не глушат, хотя, наверное, должны, кстати, вероятно, это необходимо, имею в виду наверняка, само собой разумеется… Когда наступает весна, проходит еще один год, и мы проезжаем мимо еще одного озера. Повсюду трава, березы, небо. Дома, дома, дома. Березы, небо, еще один год прошел. Не верится. Мы прожили еще год. Большие помещения делились на много маленьких комнат, где не предусмотрена была вентиляция или освещение. Размер арендной платы зависел от размера комнаты и расстояния до улицы. Вскоре дом заполнился целиком, от погреба до чердака, жильцами, перебивающимися чем бог пошлет, морально павшими,

неряшливыми — отверженными людьми, омерзительными, как сама нищета. Это как у Роберта Уайатта: Be in the air, but not be air, be in the no air [8], сказал гитарист, глухо рассмеявшись, и я искал мелодию некоторое время и вот она появилась, Had I been free, I could have chosen not to be me [9], но я промолчал, позволил ей звучать внутри меня. Какой паук сумел бы понять арахнофобию? Да, у меня начало проясняться, сказал он, что это значит… Но я не слышал. Я был где-то не здесь, ведь история про ребра напомнила мне о Кико, о последней нашей встрече, его книгах и о той последней ночи в сквоте, которая началась у Кико в квартире, а закончилась бог знает где. Я тогда впервые оказался у него дома. Я поехал туда на метро, ранним вечером, после работы. Я нашел улицу благодаря маленькой помятой карте, которую мне дал Арго, он вроде вырвал ее из бесплатной газеты. Я зашел во двор, открыв разболтанную дверь, покрытую тегами и остатками старых объявлений. На пороге было темно и сыро, и я отчетливо помню тяжелый запах мусора и застарелой мочи, что заставило меня прикрыть

---

[8] Примечания: 8
Быть в воздухе, но не быть воздухом, быть не в воздухе (*англ.*)

[9] Примечания: 9
Был бы я свободен, я мог бы выбрать не быть собой (*англ.*)

лицо рукой и ускориться. Двор представлял собой потрескавшийся, покрытый мхом квадрат асфальта перед двухметровой красно-коричневой кирпичной стеной. На стене кто-то баллончиком нарисовал ворота с вратарем в виде человечка из палочек, а в углу установили перекладину для выбивания ковров. Рядом стояли четверо детей, лет примерно десяти. Я осмотрелся. Наверх вели три лестницы. Я обратился к ребятам: Извините, вы не знаете, где живет Кико? Они посмотрели на меня, два мальчика и две девочки. Франциско? Маленький парень с дредами? Он хочет сказать «негр», тихо обратился к остальным один из мальчиков. Я вдруг увидел у него в руке большой кухонный нож, а другой мальчик показал верхнюю часть предплечья, где медленно кровоточили два длинных пореза. Эй, что вы тут творите? — спросил я. Он ничего не чувствует, быстро ответила старшая из девочек. Но что вы, черт побери, творите? — повторил я и подошел к ним. Мальчик с окровавленной рукой сказал: Это правда. Моя рука ничего не чувствует. Нос у него был заложен. Я заметил в ноздре маленькую соплю. Мы просто немного дурачимся, пояснил мальчик с ножом. Тебе какое дело? А ты дерзкий, пацан, сказал я и взял его за запястье, за

руку с ножом. Смотри, а то получишь. Пошел ты, чертов придурок. Мальчик вырвался и одновременно уронил нож, потом плюнул мне в лицо и выбежал за захлопнувшуюся с грохотом дверь. Инстинктивно отвернувшись, я стер со щеки слюну и посмотрел на остальных детей. Старшая девочка слегка покачала головой. Вам не нужно было его трогать. Взрослые не должны трогать детей. Ничего не чувствующий мальчик смотрел на кровь, стекавшую вниз по его предплечью, по тыльной стороне ладони, между костяшек, средним и безымянным пальцем, вниз на землю. Ты в порядке? — спросил я. Моя рука ведь ничего не чувствует, снова сказал мальчик. Да, но кровь у тебя идет будь здоров. Тебе нужен пластырь, или повязка, или что-то подобное. Почему вас это так волнует, вы кто вообще такой? — не отступала девочка. Я развел руками и кивнул: Да, какой, блин, хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Почему меня это волнует? Я повернулся к ним спиной, пошел назад к двери, бормоча, что они конченые, пытался типа выкинуть их из головы, но тут же обернулся и спросил: Так вы знаете, где живет Кико? Подъезд «С», сказала девочка, доставая бумажный платок. Второй этаж. Большое спасибо, сказал я, вложив туда максимум сарказма.

Пожалуйста, чурка, тихо сказала она. Мальчик скорчил рожу и показал мне средний палец. Я остановился, чтобы развернуться и продолжить пререкаться, но понял, что это бессмысленно, только ненадолго сжал челюсти и пошел к двери «С». Я поднялся по лестнице, увидел имя Кико и позвонил в дверь. Открыл Кико. Как дела, Коди? Чем занимаешься? Да особо ничем, сказал Кико. Поигрываю тут немного. Я вошел в прихожую. О'кей. Во что рубишься? «Resident Evil» [10]. Я кивнул и заулыбался. Застрял в Раккун-Сити, а? Как всегда, чувак, сказал Кико, поморщившись. Блин, чувак, детишки у тебя во дворе совсем долбанутые, сказал я и повесил куртку на крючок. Я знаю. Можешь не рассказывать. Они совсем конченые. Еще и нацики. Мы вошли в гостиную. Жалюзи были опущены, стоял полумрак, и пахло табаком. Большая лавовая лампа и свечение от телика. Да, как минимум один из них. Просто у него брательник скинхед. Но он не опасен. Просто придурок. Любит крутить «Skrewdriver» [11] и всяких расистов, так что гремит по всему двору. Он

[10] Примечания: 10
«Обитель зла» (*англ.*).

[11] Примечания: 11
Screwdriver — отвертка (*англ.*). Имеется в виду британская панк-группа, созданная в 1976 г.; позже стала поддерживать идеологию скинхедов.

рассмеялся и сел в кресло. Я подошел к лавовой лампе, наклонился вперед и проследил пальцем за красным, похожим на амебу сгустком. Я обычно ставлю в ответ «N.W.A» [12], а колонки у меня лучше, так что я всегда выигрываю. Не знаю. Надо бы надавать им по башке. Мы, наверное, слишком добренькие с этими чертями. Кико вернулся к игре. Я сел на диван и стал смотреть на зомби, заполонивших экран. Окровавленные руки, как у того нечувствующего мальчика. Хотя разок он, кстати, достал пистолет, сказал Кико, играя. Брательник или мелкий? Мелкий. Шутишь. Клянусь. «Беретту» со стертым серийным номером. Наверняка она ему перепала от карлика, знаешь, Карлоса. Единственный тип, из тех, кого я знаю, достаточно безбашенный, чтобы заманивать малолеток таким дерьмом, сказал Кико, покачав головой. Умеешь с таким обращаться? С чем конкретно? С «Береттой» еще туда-сюда, типа всякими моделями? На самом деле нет. Но эту модель я знаю, у меня такая давно была. Реплика, но все же. Продал ее, когда купил сэмплер «АКАЙ». А что случилось с мелким? Да ничего. Когда я не отступил, то отступил он. Как всегда.

---

[12] Примечания: 12

«N.W.A» — американская хип-хоп группа, основатели поджанра гангста-рока.

Как всегда, рассмеялся я. Хосси, не выпендривайся. Он спросил, не хочу ли я немного порубиться в «RE». Я сказал «нет». На столе лежали фрукты. Я спросил, можно ли взять яблоко. Конечно, сказал он. Бери красные, их много. Мы разговаривали, пока он играл. У него на журнальном столике я увидел книгу и прочитал обложку. Эдгар Аллан По. Кико сказал, что ему нравится По. Новеллы. Стихотворения кажутся устаревшими. Книгу ему подарила сестра, когда он лежал в больнице в Лондоне. Я спросил, почему он лежал в больнице. Он рассказал, что на него напали нацики в Севилье. Тогда он тоже порезал одному из них живот. Он не знает, как все сложилось у другого парня. Сам он получил сотрясение мозга, перелом ребер и дырку в легком. А в Лондоне вдруг рана на легком раскрылась или что-то вроде того, и ему снова пришлось лечь в больницу. Он сказал, боль была просто дикой. Он все время хотел все больше и больше морфина. Но когда боль исчезла, приятно было лежать и кайфовать вместе с По. Тогда Кико обнаружил, что любит читать. Он пошел в библиотеку и удивился, когда библиотекарша, шестидесятилетняя тетушка, достала кучу книжек о зомби и старые немецкие стихи о трупах и тому подобном. Я спросил о нападении,

и он рассказал, что это случилось ночью около железнодорожного вокзала. Я спросил, носит ли он с собой нож. Сейчас нет, сказал он. Но там все было иначе. В Испании ты должен носить нож, потому что там повсюду долбанутые расисты, сказал он. Отстой это все, сказал я. Но знаешь, По, он тоже был расистом, сказал Кико. Все, блин, расисты. Знаешь, как она меня назвала? — спросил я. Мелкая девчонка во дворе. Нет, сказал он и выключил игру и телик. И как? Чурка. Она сказала: *Пожалуйста, чурка.* Серьезно? Дерьмово. Отстой. Я засмеялся. Прикинь? Знаешь, сколько я такого не слышал? Сколько? Так давно? Ну в лицо, да, давно. Серьезно? Клянусь. Черт, помнишь первый раз? Я хорошо помню, чувак. Нет, я нет. О'кей, не помню, в каком году, но это было в футбольном лагере в 88-м, 89-м, 90-м, вроде того. Тебе тогда было типа десять-одиннадцать? Блин, так много? Клянусь, тогда был первый раз. В футбольном лагере. Я и еще кто-то, не помню, может Бесарт, кто-то еще, мы немного повздорили со старшими парнями, типа взяли их мяч. Тогда один из них сказал, его звали Магнуссон или Магнус, как-то так, короче, тогда он сказал нам «гребаные чурки». Я никогда такого не слышал, потому ничего не понял. Но потом я кого-то спросил. И

мне сказали: Это значит приезжий, иммигрант, грязный черножопый типа, хотя я этого тоже еще никогда не слышал. И конечно, не мог это просто так оставить, так что, когда шел мимо этого Манге, или, может, его звали Тоббе, я ему зарядил в грудь, а может, в живот, со всей силы. Молча… больной, что ли? Да-да, молча, просто: *Бам*. Так что дальше? Что дальше? Он был меня на двадцать сантиметров выше. Он посмотрел на меня и врезал мне справа, так что треснула губа. Потом я получил взбучку от тренера и потом еще от мамы, за то, что подрался. Катастрофа. Да. Полная. Раздутая губа и стыд, что постоял за себя. А когда мне было типа десять, двенадцать, может, чуть старше… Тогда пришли неонацисты и собрались нас отдубасить. Какие, взрослые? Да-да, у них были машины и прочее дерьмо, мотоциклы. Приехали целой бандой довольно поздно, когда стемнело. Тренеры и старшие их выгнали, но мы типа чуть не обосрались. Ясное дело. Мы думали, они нас линчуют, чувак. Жесть, чувак. Суровые времена. Да. Полная жесть. Прикинь, что с ними сейчас. Чем они занимаются? Представь себе. Такой вот тип, который пугает детей. Вот честно. Я не хочу знать, сказал я, надеюсь, их больше нет. Нет, сказал Кико, скорее всего есть. Наверняка

теперь они политики и скоро захватят всё вокруг. Некоторое время мы сидели молча. Потом ни с того ни с сего Кико рассказал, что у него где-то есть сын, с которым ему нельзя видеться, мама не хочет иметь с ним дело. Он показал мне фото младенца. Это жесть какой старый снимок, сказал он. Сейчас ему пять. Я его три года не видел. Мне нельзя с ним встречаться. Почему? — спросил я. Не знаю, ответил он. Я промолчал. Кико начал скручивать косяк. Все сложно, сказал он. Сложно? — сказал я. Он промолчал. Черт, я не знал, что ты папаша, попытался я произнести весело. Мы закурили. Очень маслянистый гашиш от замбийца из «Метро». У него мы брали травку «New York Diesel» [13]. Точно, у него. Торкнуло нас сильно, и Кико поставил Dj Screw [14], которого я слышал впервые. «Still D.R.E.» [15] из «Freestyle kingz» [16], брат. Меня кроет, такой он крепкий.

---

[13] Примечания: 13

«Нью-йоркский дизель» (*англ.*).

[14] Примечания: 14

Диджей Скру (*англ.*) – псевдоним известного американского диджея Роберта Эрла Дэвиса-младшего, скончавшегося от передозировки наркотиков в 2000 г.

[15] Примечания: 15

«Все тот же Д.Р.Е.» (*англ.*) – хит американского рэпера и продюсера Доктора Дре.

[16] Примечания: 16

Дре не был участником «Freestyle kingz» (*Прим. ред.*)

Мы оба не могли разговаривать, я посмотрел на Кико, глаза у меня превратились в узкие щелки, мышцы лица обмякли. Черт, чувак, я стекаю на пол. Пфф, сказал я и показал себе на лоб. Кико вдруг взял пульт, выключил звук и посмотрел на меня с реально обдолбанным видом. Слушай, сказал он, моя мама продавала ганжу в Кордобе, когда я был маленьким. Я молчал, все это казалось странным. Мы обычно не говорили «ганжа» — так чаще выражались всякие раста-пижоны. Я пытался думать, но все как будто замедлилось. Что он хотел сказать? Я не знал, что ответить, язык прилип к нёбу. Правда, только сказал я и почувствовал себя таким же заторможенным, как музыка [17]. Как будто по телу шли волны и толкали мою тушу вниз к полу, вниз на темно-синий ковролин, по которому я елозил ногами, туда, где валялись коричневые листья табака и пирамидки из упавшего у меня пепла. Во рту пересохло, но я смог набрать небольшое количество слюны, которую поместил на кончик указательного пальца, наклонился и как можно более осторожно прикоснулся к пеплу, чтобы он прилип к пальцу и вместе с ним оказался

---

[17] Примечания: 17

Характерная черта музыки Dj Screw — медленный темп.

наверху. Я протянул палец к краю пепельницы и вытер его о штанину. Когда я посмотрел на ковролин, он был без изменений, темно-синий с хлопьями табака и кучками пепла, цилиндрическими и серыми. Я же их только что убрал? Меня снова потянуло вниз, рука продолжила вытирать палец о штанину. Кико выдохнул после глубокой затяжки и сощурился. Клянусь, сказал он. Кроет, сказал я. Я посмотрел на него и увидел, что он где-то застрял, он продолжал щуриться, а его брови превратились в две высокие дуги. Две дуги, две черточки и рот, который еще раз произнес, как будто механически, как будто заучивая реплику. *Моя-мама-продавала-ганжу-в-Кордобе-когда-я-был-маленьким.* Слова эхом отдавались в мозгу: *мама, ганжа, Кордоба.* Тут я рассмеялся: Кико, твою мать. Я не знаю, где эта Кордоба. Он тоже и со смехом: В Андалузии, путо. Включил звук, снова загудели басы, и мы слушали, и мы были настолько обдолбаны, что забыли скрутить еще косяк. Потом мы поехали и встретились с Суутом, Димой, Беккой, Санне и другими — Ади, Ольгой, Понибоем, Лахосом. Этот вечер оказался последним, и мы так и не попрощались. Суут, подумал я. Суут, чертов Суут. Гитарист показал на высотку и что-то сказал. Я взглянул наверх и увидел, что

по крыше, на высоте десяти-двенадцати этажей как минимум, передвигаются два силуэта. Но только через пару секунд я понял, что, кроме указания «смотрите», то, о чем он говорил, не имело отношения к силуэтам на крыше. А Ланжиль [18], сказала композиторша, она тоже сделала кучу всего интересного, и пластинки, которые они записывали вместе, очень хорошие. Знаешь, иногда это наводит меня на мысли о Колетт Маньи, ты слышал ее интерпретацию Арто [19], где она шипит и шумит, и воет, и орет? Кстати, совершенно потрясающе. Не то чтобы так делает Ланжиль, но там есть тон, какой-то, как сказать, настрой, если понимаешь, о чем я. Композиторша посмотрела на меня. Кстати, к разговору о строе, как идут дела с микротональностью, раз уж мы говорим о настройке? Когда я пару секунд не отвечал, она добавила: *Pun intended* [20]. Суут скатился, подумал я. Я спасся.

Легкие движения воскового плюща, дрожание

---

[18] Примечания: 18

Имеется в виду Сьюзан Ланжиль (Suzanne Langille), американская исполнительница, которая работала вместе с гитаристом Лореном Маццаканом Конорсом.

[19] Примечания: 19

Арто, Антонен (1896–1948) — французский писатель, поэт, драматург.

[20] Примечания: 20

Игра слов, каламбур *(англ.). Зд.*: Шутка.

и слабые колебания, словно эхо движения струн, в сочетании с этим низкочастотным тоном, гулом — все это оставалось у меня в сознании, когда я увидел новую высотку и силуэты на крыше, с железной дорогой и парком путей на этом фоне, одновременно пытаясь сказать что-то гитаристу и композиторше о Шельси и работе с микротональностью. Мы шли на Центральный вокзал, чтобы отправиться на поезде в Копенгаген, в Церковь Богоматери, на концерт Моосманна, и сейчас я катил свой велик двумя руками, и когда мы переходили дорогу, я огляделся, и на секунду показалось, что мне сложно сориентироваться, я не узнавал местность, и я подумал, что, наверное, круговую развязку тоже построили недавно, как и ограждение и скамейки, и мы шли вдоль канала, между водой и путями, по свежему асфальту, и я чувствовал, что велик катится по-другому — легче, плавнее, — и обувь не издает никаких звуков, ну, почти никаких, и гитарист сказал: Наверное у него для этого был какой-то особый инструмент? Да, сказал я. Ну, про особый не знаю, у него был так называемый ондиолин, вроде такой итальянский вариант клавиолина, который представлял собой ранний синтезатор. Композиторша что-то говорила про микрото-

нальный потенциал, и гитарист с энтузиазмом рассказывал о специально сконструированных инструментах Толгахана Когулу с подвижными ладами, и я слушал частично, вполуха, будто потерянный, или рассеянный, ушел в себя, что называется, смотрел на граффити, снова, конечно, думал о Сууте. О том, как это быть бездомным и лежать прямо на земле. Гитарист с композиторшей говорили быстро, так быстро, что я за ними не мог угнаться, едва я успевал переварить слова, их значение, как следовала очередная тирада. Многие экспериментировали с микротональной настройкой, сказала композиторша, те, например, кто учился у Полины Оливерос, которая тоже этим увлекалась. Она обратилась ко мне: Рискну предположить, она много слушала Шельси. Братан, я так больше не могу. Русло реки. Такие образования, как отмели, намывные валы, остаточные озера и переплетающиеся речушки в дельте. И я подумал, снова: Я спасся. А Суут, я слышал, как он говорит *вишневый сад*. Именно так. Спасся. Это место, если оно — место. Это есть место, и это есть движение. Это — автобус на круговой развязке. Это автобус, который двигается вперед и по кругу, он кренится, и я напрягаюсь всем телом, держусь за рукоятку, автобус трясет-

ся, вибрирует, водитель прибавляет скорости, мы вот-вот вывалимся, наружу, назад, и я держусь за рукоять и смотрю в потолок. А Элвин Лусье, та работа для виолончели и ваз [21]? Ты играл ее? То есть это что-то совсем другое, но *звучит* похоже, или я ошибаюсь? Я думал о Сууте и о другом недавно умершем художнике, погибшем под электричкой. Не то чтобы я его знал или был знаком, я только читал об этом, и это стояло у меня перед глазами, как будто в фантазиях, я видел, как снова и снова умирает Суут, хотя вот с ним этого никогда не случалось, хотя я знал, что он внимателен, что он осторожен. Я действую осторожно, всегда говорил он. Я действую осторожно. Но никогда нельзя быть достаточно осторожным. Тот, другой, парень умер в четыре часа утра и оставил после себя последний тег, последнее пятнышко краски. Нет, сказал я, нет, но я слышал, как это играет Чарльз Кёртис. Красиво, да. Я смотрел на вращающиеся колеса велика, на спицы, которые исчезали и появлялись, исчезали и появлялись в движении. Так умиротворяюще и красиво, сказал

---

[21] Примечания: 21

Лусье, Элвин (1931–2021) — американский музыкант-экспериментатор, автор звуковых инсталляций, исследователь акустических явлений. Речь идет о его произведении «Музыка для виолончели с одной или несколькими усиленными вазами» («Music for Cello With One or More Aplified Vases»), 1993 г.

я. Конечно, связь, возможно, есть. Но различий все-таки больше, по крайней мере если эти произведения сыграть. И я подумал о черно-белом муаровом узоре на конверте пластинки и работе Шельси с золотым сечением. В чем различие? Арифметика, геометрия, гармония. Разве не все есть математика или по крайней мере узор, повторение, вариация? Но Суут, думал я, Soot [22], так мы его звали, это был его тег, и я уже раньше думал об этом месте, когда, лет двадцать назад, об этом круговом перекрестке, когда я сидел в автобусе, и поднималось солнце, и я увидел на обуви следы крови, распухшие костяшки, но еще облака и небо, белое с голубым, а тем временем что-то коричневатое становилось зеленым и желтым в траве посреди перекрестка, который мы проезжали, автобус кренился, и меня тянуло к стенкам, я перемещался по южным окраинам, недалеко, совсем недалеко от садоводств, где выращивали, а может, и сейчас выращивают мяту и чеснок, тимьян и петрушку, морковь, редис и свеклу, наверняка недалеко от огороженных вишневых садов, которых я в жизни никогда не видел — *Вишневый сад продан!* — говорил Суут, и

---

[22] Примечания: 22
Сажа (*англ.*)

да, мы называли его Суут, хотя его звали как-то по-другому, потому что это был его тег, он любил произносить эти слова, *вишневый сад*, интересно, сколько он их помнил, как часто произносил под конец, сидя где-то, жалкий опустившийся наркоман, от которого отдалились все, особенно те, кто его любил, сидел ли он и повторял эти слова сам себе, или говорил кому-то, слушал ли там кто-то такого чудака, *вишневый сад*, не знаю почему, думаю, что просто из-за звучания, ему просто было приятно это произносить, ему нравилось произносить *вишневый сад*, ему приятно было произносить это по-немецки — Kirschgarten, ему чем-то помогало произносить это по-русски — višňový sad, нравилось и по-английски — cherry orchard, или по-румынски — livada de vișini, или по-венгерски — cseresznyéskert, или по-турецки — vişne bahçesi, не знаю, в чем суть, в разных языках, разных звуках, просодических комбинациях, не знаю, может, он просто помнил реплику наизусть после какого-то занятия в школе, не представляю, откуда он ее знал. Вишневый сад продан! — говорил он. Кому продан? Кто купил? Я купил. Я купил! — говорил он. Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не могу, повторял он — недалеко, совсем

недалеко от автомобильных мостов, инжира и кухонных окон с водяным кресом и лесными лужайками, где и сейчас плотным ковром расстилается кислица, не знаю, но все это происходит, в то время как автобус кренится, проезжая по круговой развязке, я держусь за серую пластиковую ручку, и напрягаюсь всем телом, и смотрю сквозь окно с мелкими царапинами, вверх на облака, да, на белые облака, это движение по кругу, но не только, еще другое движение, центробежная сила, мы двигаемся по кругу, по кругу, но еще и наружу, прочь, я еду по кругу и прочь, далеко прочь, так же как сейчас, я направляюсь прочь, далеко прочь, далеко от мигающих ламп дневного света на вокзале, прочь от всего, что я сделал, от Димы и Хекса, и детей в сквоте, и всего этого, и меня тянет прочь, в южную часть города, где я жил и обитал, на южную окраину, где город встречается с полем, где город встречается с лесом, где город встречается с горой, где все становится в каком-то смысле больше, а может, меньше, то есть как когда отдаляешь изображение, тогда ведь все становится больше и одновременно меньше, понимаешь, о чем я, Сут? Один в один, именно так, как когда отдаляешь изображение, все становится меньше и больше,

больше и меньше. Понимаешь, Суут? Ты гордился этим, вернее сказать, по крайней мере любил это подчеркивать, происхождение, истоки, хотя обычный локальный патриотизм для нас всегда был недоступен, не говоря уже о патриотизме вообще, если бы нам это сейчас было нужно, потому что ни мы, ни наши родители никогда не жили на одном месте больше одного или двух, максимум трех-четырех лет, мы всегда отовсюду уезжали, и мы всегда и везде были новенькими, как только мы переставали быть новичками, как только переставали быть чужаками в каком-то месте, в сообществе, тогда мы покидали это сообщество, это место, этот район, а сейчас автобус кренится и меня выносит прочь и по кругу, по кругу и прочь, и знаешь, я думаю, когда я думаю о тебе, Суут, то часто начинаю разговаривать сам с собой, я повышаю голос, и встаю сбоку от себя самого, и начинаю разговаривать, или я встаю перед собой и начинаю разговаривать, как будто я это Суут, как будто я это кто-то другой, и мне становится стыдно, но я гоню стыд, не думаю о нарциссизме, я начинаю говорить, я – это Суут, я жую, я говорю, смотрю тебе в глаза, я посасываю зубы и сплевываю, я открываю рот и что-то говорю, я все время двигаюсь, хихикаю, говорю обо

всем подряд, о песочницах, о ножах, о грязной нищенской одежде, обо всем подряд, правда, или почти обо всем, об украденных серебряных украшениях, о гимнастике, о диких парках, о том, как я нашел килограммы белого порошка, упакованные в полиэтиленовые пакеты и замотанные коричневой изолентой, когда играл в той роще, которую мы называли лесом, ближе к Тюгельшё, за водонапорной башней, помнишь, Коди, мне было семь, восемь, и мама позвонила в полицию, и они приехали и забрали пакеты, они ничего не сказали, но думаю, там был амфетамин, и, конечно, мы могли бы его продать и заработать кучу бабла, но мамаша о таком не знала, да даже если бы и знала, никогда бы не сделала, да и к лучшему, наверное, потому что точно кто-нибудь прознал бы об этом и потом за нами охотился бы какой-нибудь гребаный поляк из наркомафии, вот такое я громко говорю сам себе, я говорю: Коди, слушай, понимаешь, о чем я, Коди, вот такие были времена, я могу сколько угодно об этом рассказывать, о тех районах, о южных окраинах городов, сколько угодно, даже слишком много, о районах на юге, где тлеет ненависть, обо всем, откуда мы бежим, слишком много. Я говорю: Коди, Коди, Коди, от таких разговоров я всегда начинаю

думать о похоронах, знаешь, Коди, всегда начинаю вспоминать мертвых, идти вместе с ними, идти рядом с ними, как будто я уже один из них, как будто мы снова идем на очередные такие похороны, снова, и все это не важно, здесь и сейчас, это ничего не значит, мы даже не знаем, кого кладут в землю, кто лежит в гробу. Кто это, Коди? Я не знаю, я спрашиваю остальных, но они не знают, мы не знаем, но ничего страшного, ничего страшного, просто пара шагов, одна нога перед другой, легкие дышат сами по себе, глаза видят, уши слышат, вынужденно, оно живет, тело, вынужденно, оно двигается, по необходимости направляясь на очередные похороны, вынужденно на еще одни, но не мои, не Понибоя, не Лалика, не Дарри, нет, они просто уснули, и стоит открыть рот, как из него льется, как после выбитого зуба, похороны, тянет вниз, к земле, опускается в землю, просто льется, эти похороны, и эти люди, и эта нищета, меня тянет к этому, но не к моим собственным, не к похоронам Блерима, Шабана, или Чабанне, Йована или Йонни, не Шнурка, Влораса, не Вотана, Ахмеда или Арне, не Придурка, Бенни, Датчанина, нет, они просто спят, их имена сыплются, вытекают изо рта, но речь не об их похоронах, я не знаю, я просто иду дальше, бросаю взгляд на

то, что выглядит как розовое небо с перламутровыми переливами, или это что-то другое, на темные звезды, или это что-то другое, *против* воли, *вопреки* смыслу, понимаешь, о чем я, Коди? Желание закрыть рот сильнее, поскольку звуки, покидающие мой открытый рот, не имеют смысла и поскольку с объективной точки зрения смысл в том, чтобы я ничего не говорил, потому что знаю: это-то и бессмысленно, и поверь, порыв заткнуться силен, порыв молчать о похоронах, перестать произносить имена Эрика, Рудде, Эльны, Сольмаза и Марцина, прекратить все это и замолчать навсегда, порыв силен, но тут, знаешь, как после выбитого зуба, рот этим забит, и оно должно излиться, потому что, насколько я знаю, так как я присутствовал при том, как Лейла от отчаяния отрезала себе язык, для организма вредно в больших объемах глотать кровь, поскольку тело, желудок не справляются с ней, там слишком много железа или чего-то такого, человеку становится плохо, его тошнит, он болеет, а сейчас мой рот полон этого, в нем привкус железа, и имен, и мест, событий и перемещений, полон воспоминаний и образов, у меня рот наполнен ее отрезанным языком, голова полна крови, я все время это вижу, мне мерещится это днем и

снится ночью, у меня мозг полон этим, Коди, у меня рот полон кровью, у меня рот полон землей, у меня рот полон именами, у меня рот полон тобой, у меня рот полон твоими ушами и твоим ртом, у меня рот полон твоими сжатыми губами, твердыми, когда они прижимаются к моим, как будто их прикусили, у меня рот полон пеной, я посасываю зубы, и идет кровь, я ем землю, кишащую червями, которые переплетаются у меня в горле, ем землю и гравий, царапающие нёбо, рот у меня проваливается, изуродованный гримасами, прокусанный зубами, которые его растягивают и рвут на части, у меня рот полон фигурами, как на том плакате, у кого он был, висел рядом с Тупаком, Хендриксом, Марли, Кобейном, вроде того. Не у Вилли, или как там его звали, нет, рот теперь полон землей, я не про Вилли Д, или как там его, гренландец, его мама была воспитательницей, не у него, мы звали его эскимо, мелкие ползали по грязному ковру в одной комнате и орали, он не мог произнести «С», вроде так, и не у того албанца, как его, все говорили, что он голубой, не знаю, и не у Джонни, даже не знаю, откуда он, откуда-то из Африки, не у него, но у кого же, соберись, Коди, может, у какого-то шведа, и не у той турчанки, слушай, я только через много лет понял, что они

не турки, потому что они типа были армянами, христианами, или ассирийцами, или сирийцами, что-то такое, не знаю, но только подумай, все эти годы, когда все так думали, мы то и дело говорили *турок-придурок* и тому подобное, все говорили, что они богатые, что их родители были строгими и их били, не знаю, они должны были учиться, а если не могли учиться, то сразу открывали фирму, у кого-то было так, много иранцев, но у нас иранцев не было, знаешь, в основном юги [23], чилийцы, венгры, цыгане, албанцы и поляки, никаких финнов, ну, может, несколько, арабы из разных стран, турки, афганцы, сомалийцы, парочка русских, куча бродяг-шведов, да-да. О'кей, я скоро заткнусь, обещаю, я тоже не хочу об этом говорить, я просто хотел сказать, что вспомнил о нем, о парне, если это был он, с тем плакатом, ну знаешь, солдат, умирающий, которого пристрелили, сзади, он падает, роняет оружие, запечатлен вот так, в воздухе, в падении, и там написано Почему? — Why? — помнишь, помнишь, как мы смеялись, как угорали, почему у него был этот плакат, его звали Дениз, он жил в учреждении, и на хрен, тебе я могу сказать,

---

[23] Примечания: 23
Имеются в виду югославы.

но рот у меня проваливается, изуродованный гримасами, прокусанный зубами, которые его растягивают и рвут на части, а во рту у меня эта картина, постер, плакат, белый фон, черные чернила, картина умирающего солдата, которого пристрелили и который роняет оружие и падает и там написано Why? — и я теперь знаю, чувак, у меня это вертится на языке, во рту, знаю, что мы слушали Боба Марли, у Дениза, то место у меня во рту, детское учреждение, исправительное учреждение, там, над кроватью у него висел этот плакат, и не знаю, но я помню, что мы там сидели и слушали, и он показывал мне статьи, которые вырезал и сохранял его брательник, и я помню, что увидел слово СВАЛКА, так что теперь у меня во рту и те газетные статьи, и я должен их жевать, буквы и картинки, я должен прожевать те чертовы картинки, и те чертовы буквы, те чертовы слова, ведь там было написано не только СВАЛКА, там было еще кое-что, гораздо больше, там было так много слов, черным на белом фоне, и слова эти ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ и СВАЛКА, вот эти слова у меня во рту, чувак, вот эти долбаные, мать их, слова у меня в долбаном, мать его, рту, Коди, ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ и СВАЛКА, и знаешь, мой папа мне сказал, что вот теперь мы попали

в РАЙ, а в газете писали, что это ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СВАЛКА и что это катастрофа, и мы приехали туда в 1982-м, в *рай*, кажется, а в 1985-м уже писали о *человеческой свалке*, писали, что район Хольма сегодня — место бедствия, человеческая свалка, так они писали, Хольма стал районом, куда помещали почти всех людей с проблемами, с молчаливого согласия социальной службы, это не суровый приговор газеты «Квельспостен», писали они, а сами живущие там люди так думают о своем окружении, утверждали они, и потом они писали, что репортеры «Квельспостен» в течение недели ходили по району, где встретили наркоманов, мигрантов, молодежь, которая любит драться, и еще они писали, что встретили борцов-идеалистов, которые хотят изменить жизнь в Хольме, идеалистов, которые надеются, что еще не поздно, писали они, и те провели там совсем мало времени, но уже, возможно, слишком поздно, а другие, например Рудде, Эльна, Сольмаз и Марцин и долбаная куча других, *туда еще даже не попали*, но было *уже слишком поздно*, то есть уже, возможно, слишком поздно, хотя некоторые еще не родились, и там были заголовки ШВЕЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ШВЕДСКОЙ, и ЖИВУЩИЕ НЕ ДОМА, и НОЖИ В СПИНУ, и АКТЫ

ПИРОМАНИИ, и ПОДЖОГИ ТРАВЫ, это была своеобразная поэзия, острая и подлинная песнь о нашем детстве, затопленном в geschäftsgeist [24], стих о нашей жизни, написанный заглавными и жирными буквами, с такими словами, как ДВА МИРА и СЕМЬ ИЗ ДЕСЯТИ МИГРАНТОВ, и БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ, и ПУГАЮЩИЕ ФАКТЫ, которые повторялись для усиления эффекта, ПУГАЮЩИЕ ФАКТЫ и ТЕ, КТО МОЖЕТ, БЕГУТ, и вот этот снимок у меня во рту, фотография с темными угрожающими силуэтами, с молодежью, сфотографированной против света перед продуктовым магазином, против света в темноте, этот снимок, и я ведь в то время ничего об этом не знал, по крайней мере знал очень мало, потому что не был одним из тех, кому выпало стоять и позировать перед камерой фотографа, я не был одним из тех, кому выпало стоять и хвастаться ударами с вертушки и ножами-бабочками перед репортером из «Квельспостен», репортером, так до краев наполненным поэзией и стихами и искусством формулировок и чернотой и geschäftsgeist, что поэзия, вероятно, вытекала у него изо рта, как кровь, но текла она целенаправленно, кровь доб-

[24] Примечания: 24
Дух коммерции *(нем.)*.

рой воли, очищенная от насилия, кровь, идущая от доброго сердца, да, кровь, как после выбитого зуба, но у него во рту, и она стекала вниз ему на блокнот, а потом затекала дальше в печатные станки, где ее размазывало по бумаге, которую обрезали, собирали и отправляли назад, в мир, где она всасывалась в мозги людей через глазницы, через зрачки, как будто люди были блохами, обыкновенными постельными блохами, обыкновенными человеческими блохами, как будто их способность читать — хоботок, а газета, сама бумага — кожа, к которой они прицепляются маленькими, но невероятно сильными крючками, а содержание, значение, само предложение — кровавая черная поэзия, вытекшая изо рта репортера, и кровь, которая с помощью этого акта паразитизма, этого акта паразитизма снаружи, всасывалась в человеческие тела, разливалась по их конечностям, примерно таким же образом и в таком же порядке, как младенец развивает свою двигательную активность, крупную моторику и мелкую моторику, то есть сначала попадала в глаза, через хоботок, а потом в лицо и вниз по шее, затем в руки, вниз по корпусу, и в самую последнюю очередь вниз в ноги и в ступни, до самых пальцев, что называется, по всей ши-

рине и на всю глубину, от макушки до кончиков пальцев, что называется, и потом, когда люди двигались, когда они занимались своими делами, когда просыпались и завтракали, когда мылись и одевались, когда, что называется, покидали свой уютный уголок, да, то чернота оставалась там всегда, и когда они потом врывались в мир, свободные и самоуверенные, полные куража и geschäftsgeist, да, то темная кровавая поэзия утекала в атмосферу, примерно как невидимый и лишенный запаха газ, и когда она потом к нам возвращалась, когда мы вдыхали ее, то тоже ею наполнялись, мы, кто там даже не был, и я, кто ничего об этом не знал, я, кто не был частью этой молодежи, я, кто скорее был их младшим братом или соседом, или одноклассником, или тем, кого они пугали, когда я шел с набитой наивными мыслями, озорными мечтами и смелыми надеждами головой, которые вскоре из меня выбьют примерно так же, как приучают к лотку кошку, и таким образом паразитический акт снаружи стал паразитическим актом изнутри, темная кровавая поэзия, берущая начало в наших собственных поступках, заполнила наши тела, как поселившийся в организме ленточный червь, он живет и растет в кишках, питается нашим

дерьмом, присасывается к нам крючьями, и присосками, и бороздками, понимаешь, Коди, вот это у меня во рту, вот такие черви у меня во рту, с такими крючьями, и такими присосками, и такими бороздками, я жую их, у меня во рту кишки, у меня во рту собственные кишки, и, наверное, поэтому у меня никогда не получалось сложить это все в голове, ведь папа сказал, что теперь мы приехали в рай, и я знал, что это самая богатая страна в мире, но в газете писали, что это человеческая *свалка* и что это катастрофа, и я не знаю, переехали мы туда в 1982-м вроде, а про *человеческую свалку* они писали в 1985-м, и тогда так наверное оно и было, ничего страшного, и что делать на свалке, ну, не делать ничего и создавать хаос, как-то так, а потом смеяться над взрослыми, которые не выдерживают и плачут у тебя на глазах от фрустрации и направленной не в ту сторону эмпатии, или что скажешь, ничего, и хаос, как уже было сказано, больше ничего, это было ничто, а ничто было чем-то, и то, что все-таки было чем-то, — это хаос, вокруг пахло спиртом, кошачьей мочой, по́том и переполненной пепельницей, то, что было чем-то, причиняло боль, это был вот тот смех, то, что мы знали, что это такое оружие — смеяться над всем и говорить,

что нам на все насрать, брат, нет ничего, что ты бы мог сделать со мной, что было бы хуже, чем то, куда я прихожу домой каждый вечер, сплошной хаос, брат, и так оно и было, и в этом не было ничего такого, и сейчас, когда я это вспоминаю, я в основном удивляюсь тому, что мы не делали ничего похуже, что мы не жгли больше, что мы все-таки были умеренными, поджигали только траву, и детский сад, и тот сарайчик у гаража, и пару машин и мотоцикл, какой-то сарай около парковки, но никогда школу и наши собственные дома, хоть мы на самом деле пару раз пытались, или удивляюсь тому, что я не прибил Данне, когда он сказал, что мы падальщики, потому что хоть все и знали, что это человеческая свалка, это место, не хотелось создавать впечатление оборванца, так что да, я избил Данне до полусмерти за то, что он обозвал нас падальщиками, кем мы и были, действительно, знаешь, но это не важно, вернее, это *было* не важно, он не должен был так говорить, это не то, о чем ему стоило говорить, понимаешь, но это было правдой, случалось то и дело, что мамаша кричала нам, что нашла новый контейнер, тогда мы шли во двор и отвязывали велики и катили к металлическому ящику с барахлом, стоявшему где-то в Бельвю, Кулладале,

Грёндале или Эртхольмене, куда народ выкидывал более или менее целые вещи, которые не сломались, по крайней мере окончательно, вещи, которые еще можно использовать, вещи, которые можно было починить, переделать, найти им какое-нибудь применение, и один из нас, или двое, или все трое, в зависимости от того, нужно ли было стоять на стреме, запрыгивали в контейнер и приподнимали всякий мусор и искали работающие вещи, и нам было стыдно, это снова та же тема про человеческую свалку и все такое, думаю, ты понимаешь, о чем я, и иногда мы ничего не находили, а иногда находили что-то, и если мы находили то, что могли забрать домой и пользоваться дома, нам становилось стыдно еще больше каждый раз, когда мы видели эту вещь, поскольку, каждый раз заходя в комнату и видя лампу или занавеску или стул или ковер, мы знали: эта вещь, этот тостер, этот поднос, этот кувшин — из контейнера, мы это там откопали, и, значит, мы были мусорщиками, без всяких сомнений, железно, и то же самое касалось вещей, которые я подрезал, всего добра, которое я спер, как то радио, которое я прихватил при взломе садика, когда Карлос рухнул вниз через чердачное окно и я прыгнул за ним, он под-

вернул ногу, а я немного порезал руку, и я спер радио, я его украл и наврал матери, что нашел его в мусорной камере или в контейнере, что его кто-то выкинул, потому что, видимо, купили новое, но на черном пластике были выжжены буквы, гласившие, что радио принадлежало муниципалитету, что оно является собственностью города, что оно является собственностью государства, но я уничтожил эти буквы зажигалкой и расплавил пластик, сделав его липким и тянущимся, размазал те казенные буквы и вот сказал, что нашел его и что кто-то его выкинул, потому что, наверное, он оказался на плите или что-то вроде того, и не знаю, поверила ли она мне, но это ведь могло быть правдой, и потом это радио стояло у нас на кухне, на подоконнике, много лет, отлично работало, и я им пользовался, красивым черным радио с красными деталями и буквами, которых больше не было видно, которые больше не имели значения, активно им пользовался, брал в свою комнату по вечерам и слушал, слушал радиопередачи, передачи из другого мира, передачи с другой стороны света, с другой стороны огромного океана, который, как я запомнил, отдельные дети могли пересечь на маленьких дингах, деревянных лодочках, сделан-

ных из уложенных плашмя стульев и столов, с парусами из простыни и полотенец, и я закрывал глаза и слушал, закрывал глаза и видел перед собой совершенно другие миры и совершенно другую жизнь, жизнь других, более хорошую жизнь, пока слушал передачи с такими названиями, как «Eldorado», и «Inferno», и «Soul Corner», и «Slammer» [25], и я слушал, и думал, и слушал, и быстро научился узнавать звуки, которые мне нравятся, такие, что звучали не так, как те, к которым я привык, но еще и слова и звуки, разными способами рассказывавшие о знакомой мне жизни, о го́ре и злости, и стыде, и ненависти, и ярости, как когда дома у Элеоноры я впервые услышал группы «Godflesh» и «Slayer» — «Божественная плоть» и «Убийцы», — и в тот момент, когда я слушал, моя жизнь будто стала лучше, будто она и правда по-настоящему стала значительно лучше, только от того, что какой-то чел стоял и орал в студии, моя жизнь словно стала другой, когда я лежал там, прислонив ухо к маленькому государственному динамику, когда я записывал песни или передачи целиком, чтобы слушать их снова и снова, но я все время помнил, что дина-

[25] Примечания: 25
«Эльдорадо», «Ад», «Уголок души», «Тюрьма» (*англ.*).

мик ворованный, что я спер эту фиговину, и то же самое было и с лампами, и с подсвечниками, и рамками для картин, при каждом их использовании нам приходилось испытывать стыд, и мы знали об этом, когда стояли там, в контейнере, и озирались, мы порвали мешок с вещами и стали их проверять, проверяли, можно ли их носить, подходят ли они, целые ли, не воняют ли дерьмом, или мочой, или блевотиной, или плесенью, и у нас был двойной страх быть пойманными, с одной стороны — жильцы, дворники, копы и так далее, с другой — люди, которых мы знали, страх получить клеймо *мусорщиков*, кем мы и были, страх получить клеймо нищебродов, кем мы и были, социальными отбросами, да, гребаной нищей семьей мусорщиков мы действительно были, именно такими мы и были, нищими отбросами, рывшимися в контейнере в поиске чего-то пригодного для наших домов, хороших вещей для наших тел, и мы оставались мусорщиками, пока за всей фигней не начала присматривать охрана, и те, кто выбрасывал хорошие вещи, не стали запирать свой мусор на замок, потому что он принадлежал *им*, потому что они владели искусством отделять свое от чужого, как говорят, когда свиньи открывают рот, и это были насто-

ящие, массивные замки из закаленной стали и той точкой, означавшей, что их сложно вскрыть, что их нельзя вскрыть детскими отмычками, которые я носил с собой, отмычками, которые я сделал из тех маленьких, похожих на ключи штук, ими открывают банки с сардинами, банки с консервированной ветчиной или что там еще, помоги, еда, ключи, отмычки, ветчина, свиньи, копы, банки, алюминий, блин, брат, кружится, то есть погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не могу, у меня что-то во рту, у меня полон рот еды, крови и свиней, и окровавленный нос Данне у меня под кулаком, и мой удушающий хват, и его глаза, его поросячьи глаза, выпученные и демонстрирующие, что он пожалел о сказанном, о том, что мы мусорщики и отбросы, чем мы и являлись, но я его все равно припугнул, и повалил, и сел на него верхом, и отмерил несколько ударов, и схватил за горло, и его глаза вылезли из орбит, как будто он был маленьким поросенком, или маленьким теленком, маленькой ниф-ниф-отбивной, а другой свинье я врезал, когда он сказал, что мой папаша алкаш, кем он и являлся, но свинья все равно получила сильный удар по губе и потом не заикалась на эту тему, не хочется, чтобы мне по-

стоянно о таком напоминали, правда же, мелкая свинья, да я и сам не хочу об этом говорить, по крайней мере сейчас, то есть все уже всё знают, все здесь уже об этом слышали, не знаю, Коди, не знаю, почему я опять это повторяю, снова и снова, эту грязь, снова и снова, это жалкое дерьмо, эту смертельно скучную тягомотину, не знаю, Коди, черт возьми, не знаю, я бы предпочел избежать этого, быть кем-то другим, иметь другой рот, без кровавых свиней, без этого вкуса, без этих слов, это так бессмысленно и скучно, и меня это даже не парит, а почему меня должно это парить, кого вообще парит, черт, Коди, прости меня, я не знаю, это против воли, поверь, я точно знаю, *я не специально*, это *против* воли, *вопреки* смыслу, правда, да, желание закрыть рот сильнее, всегда, по-прежнему, сильнее, ибо звуки, выходящие из моего открытого рта, не имеют ни к чему отношения, ни к чему в реальности, ни к чему, кроме кишок и кровавых свиней, и я об этом знаю, и я мечтаю замолчать, мечтаю не слышать собственный голос, не иметь дел с собственной свиной башкой, поверь, брат, у меня есть сильное желание навсегда заткнуть рот, но я, типа, не справляюсь, у меня не получается, это просто происходит, он просто раскрывается как раздро-

ченный анус, и из него выходит все это дерьмо, и вот у меня вдруг снова полон рот этого, имен и мест, событий и действий, воспоминаний и образов, у меня рот полон плохих воспоминаний и плохих слов, я чувствую, как стою и широко разеваю рот, разеваю рот как придурок, и голова наполнена чистотой крови, мои глаза, я правда все время это вижу, мне мерещится это днем и снится ночью, у меня мозг полон этим, Коди, у меня целый рот крови, у меня рот полон землей, у меня рот полон именами, у меня рот полон тобой, у меня рот полон твоими ушами и твоим ртом, у меня рот полон твоими сжатыми губами, твердыми, когда они прижимаются к моим, почти как член, член с зубами, у меня рот полон твоего лица, и я ем землю, кишащую червями, которые переплетаются у меня в горле, землю и гравий, царапающие нёбо, мои щеки проваливаются, мои губы уродуются зубами, которые рвут их на куски, у меня рот полон фигурами, и буквами, и словами, и фотографиями, что я видел в тех газетах, которые пытался продавать, и в тех рекламных буклетах, которые я раздавал, когда мне нужно было прикинуться маленьким порядочным мальчиком, маленьким святым, которому нет дела до свиной крови, и мусора, и

земли, когда я работал, когда я так думал, не понимая, что так думаю, или что думаю в принципе, потому что думать я не мог, потому что все было таким само собой разумеющимся, таким, типа, очевидным, данностью, точно, данностью, но я ведь думал, что есть легкий путь из всего того, в чем я застрял, не зная и того, что я застрял, и всего того, что меня окружало, во что я попал, во что все мы попали, где оказались, куда рухнули, были выброшены, вдавлены, вмяты, вкручены, а я ходил, мне было двенадцать, ходил и раздавал рекламу, не помню, о чем там было написано, от этого ничего не осталось, ни предприятий, ни магазинов, ни логотипов, ни подписок, ничего от тех слов и снимков, совсем ничего из всего того, на что я смотрел и о чем читал и что перечитывал, из того, что так меня покалечило, что меня наполняло и формировало, ничего, ни слова, ни снимка, не осталось ни единой буквы или цвета, осталось только вот это покалеченное, запах бумаги и это ощущение, когда ее берешь, только мой наполненный и сформированный мозг и тело, тот же мозг и то же тело, с которыми я шатался, и потел, как мелкий придурок, и продавал газеты, и я не скоро осознал полную бессмысленность этого, понял, что лучше продавать гаш или

хотя бы самогонку алкашам, ведь на легальном вообще ничего не заработаешь, ни хрена, и я как идиот шастал с газетами на левой руке, звонил в дверь и говорил: Здравствуйте, или добрый день, или добрый вечер, не хотите ли купить «Квельспостен», ту же чертову «Квельспостен», бравшую интервью у взрослых дяденек, которые теперь стали еще более взрослыми и занялись вещами посерьезнее, и больше не позволяли себя допрашивать какому-то болвану из газеты, и точно не соглашались фотографироваться у какого-то придурка-фотографа, если они и попадали в объектив, то скорее в объектив камеры наблюдения, поймавшей их темные силуэты при попытке вскрыть дверь на почту или что-то вроде того, что еще существовало в те времена, пока все подобное не забросили и не закрыли, так что «ничто» еще уменьшилось, то есть стало еще в большей степени ничем, но я все равно там шлялся и продавал эту хрень, и я говорил здравствуйте, или добрый день, или добрый вечер, или просто: Свежая «Квельспостен»? И, кажется, газета стоила шесть крон за штуку, и одна крона доставалась мне, вроде бы, я не шучу, крона, чувак, за пятихатками я не охотился, как сегодняшние дети, которые любят этим похва-

статься, но тогда появились желтые монеты по десять, и иногда мне давали десятку и говорили, сдачи не надо, ну понимаешь. Довольно быстро до меня дошло, что бессмысленно шататься как лох ради одной кроны то там, то здесь, еще и продавать это напечатанное дерьмо из искусных формулировок и стихов было довольно сложно, но знаешь, как бывает, однажды кто-то спер газету, потому что перевязанные пачки просто сваливали около велодорожки, и в таких случаях нужно было звонить и сообщать о краже, и тогда это вычиталось из того, что ты был должен, и вот я заявил о пропаже сразу трех газет, а потом их продал и забрал себе сто процентов, ясное дело, и потом стал делать так все чаще и чаще, звонил, говорил, что кто-то взял целую пачку, все ведь знали, что в этом районе живут только воры и чурки, и проблема была решена, всё мне в карман, сто процентов, вот так, ну знаешь, они довольно скоро поняли, что что-то не сходится, и поперли меня, типа того, помню, как сидел в тревоге у телефона, у нашего первого телефона с тоновым набором, или как там правильно, пластмассового с перекрученным проводом, и звонил туда, и нажимал, и нажимал, и слышал гудки и гудки, и все время думал, что сделают, если

меня поймают, но ничего не произошло, меня просто выперли, пришлось начинать сначала с пустым карманом. Потом я раздавал рекламу, приходилось сидеть и целыми вечерами раскладывать листовки, иногда мне помогала мамаша с сеструхой, потом вверх и вниз по лестнице как идиот, на пальцах порезы от бумаги, и повсюду те долбаные почтовые ящики, разрезавшие ноготь каждый гребаный раз, когда суешь туда руку, за это тоже ни хрена не платили, но у меня хотя бы была музыка в наушниках, музыка, которую я записал из радиопередач с помощью спертого радио, красивого спертого черного радио с красными деталями, и из-за этой музыки иногда, и еще из-за моей придурковатости, я даже думал, что всё отлично, как будто не лучше было бы сидеть где-нибудь в спокойном месте или гулять где-нибудь и слушать ту же музыку, вместо того чтобы бегать вверх-вниз по лестнице как полный идиот, и это даже не было самым плохим, далеко не самым, потому что самым ужасным было раскладывать листки, там было, наверное, десять разных рекламных листовок, и их все нужно было вложить в самую большую из них, ну и знаешь, пятница, а ты сидишь перед теликом и вкладываешь листовки как идиот,

прогуливаешь школу, чтобы успеть разобраться с этим дерьмом, все равно там были только уроки по родной речи, а на них мы всегда ни хрена не делали, так вот, теперь приходилось сидеть и раскладывать листовки перед гребаным теликом, мама смотрит Опру, мама смотрит «Гламур» или «Магазин на диване», ну знаешь, в наушниках, поздний вечер субботы, и мы раскладываем листовки перед гребаным теликом, кажется, меня накрывает, клянусь, друган, вот-вот, мне нужно прогуляться до квадрата [26], встретиться с Родде, скрутить косяк, успокоиться, и тогда я еще даже не задумывался о взрослых дяденьках на «мерсах» и «бэхах», с их делами и мальчиками на побегушках, но потом всегда наступала суббота и пора было валить и заниматься раскладыванием листовок, вверх и вниз как идиот, совершенно ущербный, как мелкий дебил, ссаный придурок, как лох, понимаешь, о чем я, Коди? Вот таким забит мой рот, и раз уж я заговорил о работе, то должен еще кое-что рассказать, Коди, ты слушаешь? Это случилось однажды, когда я собирался припарковаться чуть дальше по этой улице. Я нашел просвет в ряду машин, аккуратно остано-

[26] Примечания: 26

Имеется в виду пространство Банковской улицы в Мальмё, где процветает торговля наркотиками.

вился рядом с белой мигающей «Ауди» и плавно, одним движением, заехал задом, и ровно, когда я открыл дверь и хотел выйти из машины, увидел кое-что, что-то большое, подъезжавшее ко мне сзади. Так что я остался на месте, наполовину прикрыл дверь и взглянул наверх на пассажирское сиденье проезжавшего микроавтобуса. И там я увидел бледного мужчину, лет двадцати, который сидел и смеялся с пеной у рта. Машине хватило двух секунд, чтобы проехать мимо, но сумасшедший взгляд мужчины, его щеки и подборок в пенящейся слюне отпечатались у меня в мозгу и вдавили меня в сиденье, и тут же перед глазами всплыли два воспоминания. Это были воспоминания двух разных событий в моей жизни, теперь сложившиеся вместе, поставленные рядом, как в двойной экспозиции, в тот самый момент. В одном из воспоминаний я сижу на пассажирском сиденье в небольшом грузовике. Мужчина за рулем — шеф компании, импортирующей и продающей срезанные цветы флористам. Я работаю на складе вместе с двумя поляками и албанцем. Мы распаковываем цветы, например, розы из Кении, которые привозят в больших коробках, перевязываем их, по пять и пять или по десять и десять или делаем специальные букеты

перед праздником середины лета и ставим их в ведра с водой и бумажками с удобрением или чем-то вроде. Платят вчерную, работа монотонная, и почти всегда бывают переработки из-за шефа, так называемого трудоголика, который требует, чтобы все работали столько же, сколько и он. Разница в том, что мы целый день проводим на ногах, не отходя от рабочего стола, за исключением получасового обеда и коротких перекуров, а он сидит за письменным столом, расположенным так, что сам он видит все, что мы делаем, надолго и с равными промежутками он уезжает по всяким делам. Хельге, или Стиг, или как-то так его звали, не помню, нестабилен: то приветливый и благодушный, то злобный и ворчливый. Нужно просить разрешения, чтобы сходить в туалет. И вот однажды мы сидим в небольшом грузовике, который Хельгестиг арендовал типа на заправке, чтобы отвезти кое-какую мебель в дом престарелых, куда только что переехал его отец. Он спросил меня, и я вызвался помочь, конечно, за деньги, по такой же ставке, как на складе. Мы сидим в машине, и он начинает говорить о молодых иммигрантах, которые ездят на дорогих машинах. Что они гарантированно, за редким исключением, связаны с криминалом. Я расте-

рялся, будучи неуверенным, насколько то, что он говорит, направлено на меня. Не потому что у меня есть машина или что-то, у меня в то время даже прав не было, но знаешь, я проработал на него всего пару недель и уже понял, что он сволочь. Как и много раз до этого, мне хочется только попросить его заткнуться, что я, естественно, не могу сделать, потому что мне нужны деньги на оплату квартиры, которую я снимаю на лето (не знаю, где буду жить после). И вот, мы проезжаем мимо места мелкого ДТП, одна машина въехала в зад другой на красный свет. Хельгестиг говорит: Слушай, малыш. Если ты въехал кому-то в зад, то это не вина кого-то другого, хоть из кожи вон вылези. Да, вот такое первое воспоминание. Вот это: из кожи вон вылези. Не знаю, почему это всплыло именно тогда. Вторым воспоминанием было то, что я пришел домой с работы — мыл посуду в ресторане, — поздний вечер, и у меня вот тот вкус во рту, и я вижу, что мой сосед по квартире Эрик лежит на диване перед телевизором. Он в полной отключке от кетамина, и изо рта у него уже пошла пена, которая стекает с уголков губ вниз на тощую безволосую грудь, где собирается в пузырящуюся лужицу слюны. На короткое время я реально пугаюсь и пытаюсь оценить риски

серьезной передозировки. На туалетном столике лежит лист бумаги с большой горкой кетамина. Эрик недавно начал продавать «витамин К», чтобы свести концы с концами, так сказать, поправить финансы, поскольку недавно лишился работы. Он покупает его в бутылках, в жидкой форме, и выпаривает на тефлоновой сковороде. Мы перекидываемся парой слов, я говорю ему, что сегодня уже хватит, убираю конверт и кидаю ему носовой платок. Он пытается вытереть губы и грудь, но в основном еще дальше размазывает слюну по поверхности. Я сижу там с ним какое-то время, следя за обстановкой. Все вроде нормально, но откуда мне, блин, знать. Я курю косяк и подкалываю Эрика. Мы раньше уже обсуждали риски внезапно оказаться с такой большой кучей порошка. Ты кончишь, как Тони из фильма «Лицо со шрамом», сказал я. Потом мы некоторое время называли его Тони Монтаной. Эрик был совершенно убежден, что будет легко противостоять искушению проторчать всё, поскольку ему требовались деньги. Ты что, совсем дебил? — говорю я. Он блаженно улыбается. Потом меня это достает, и я ухожу, чуть ли не надеясь, что он захлебнется собственной рвотой, иду в спальню и ложусь на кровать и что-то слушаю, типа «Drexciya» или аль-

бом «Philophobia» [27], или «Things Fall Apart» [28]*, или типа диджей Краш и Тосинори Кондо, наверняка альбом «Ки-Оку», я был в то время им немного одержим (помню, когда батя услышал какой-то трек оттуда, он язвительно рассмеялся и такой: Кто это косит под Майлза Дэвиса?). Или, может, это был «Какусей», а еще там была песня из «Crimson» [29], вроде так, с сэмплом Харольда Бадда, «Bismillahi 'Rahman 'Rahim» [30] из альбома «Павильон грёз», не знаю, что это значит, и еще я не знал, что Краш, или Хидеаки Иси, как его звали, в молодости занимался мелким криминалом и даже был членом якудза, но я обычно, по дороге на работу, слушал «Survival of the Fittest» [31], и не знаю, что сказать о социальном дарвинизме, как в песне дуэта «Mobb Deep» с таким же назва-

---

[27] Примечания: 27

«Филофобия» (*англ.*) – альбом группы «Arab Strap» (1998).

[28] Примечания: 28

«Все разваливается на части» (*англ.*) – альбом группы «The Roots» (1999).

[29] Примечания: 29

«Малиновый» (*англ.*) – альбом шведской дэт-метал-группы «Edge of Sanity» (1996).

[30] Примечания: 30

Бисмилляхи Рахмани Рахим — слова басмалы, которые произносятся мусульманами перед каким-либо поступком или действием, которые они хотят совершить исключительно ради Всевышнего.

[31] Примечания: 31
«Выживание сильнейших» (*англ.*).

нием или как в «Shook Ones pt. II»: Rock you in the face, stab your brain with your nose bone [32], но CL Smooth там так крут, или ту с Траджеди Кадафи, он же Интеллиджент Худлум, ну знаешь (и я тут же вспоминаю Киллер Майка и его: I'm a young G, I'm a EV, Educated Villain, и I'm a book reader, I'm a gang leader [33], который говорит в клипе: To me it ain't no love out there, y'know what I'm sayin' … everybody … everybody just like robots right now … like zombies … ain't no love out there … I think the future gonna be a scary thing … like y'know … gotta get ready for it … y'know what I'm sayin' … if you ain't tryin' to get ready for it, then just get high and get bent … y'know what I'm sayin' … and let it come or go or whatever … that's my fuckin' philosophy on the future … [34], и этим мы в основном и зани-

---

[32] Примечания: 32

Двину тебе в лицо, проткну тебе мозг носовой костью (*англ.*).

[33] Примечания: 33

Я молодой п(арень), я опытный, образованный злодей, и я читаю книги, я главарь банды (*англ.*).

[34] Примечания: 34

Для меня там нет никакой любви, ты знаешь, о чем я говорю… все… все сейчас как роботы… как зомби… там нет никакой любви… Я думаю, что будущее станет страшным… ну ты знаешь… и надо быть готовым к этому… ты знаешь, о чем я говорю… если ты не пытаешься подготовиться к этому, тогда просто кайфуй и накручивай себя… ты знаешь, о чем я говорю… и пусть это придет или уйдет, или что угодно… это моя гребаная философия будущего… (*англ.*).

мались, торчали и бухали и не очень-то были готовы к чему-либо в принципе, правда, Коди, правда, чувак, и да, работали и работали, конечно, работали и иногда подворовывали, ну или на самом деле неплохо так воровали, барыжили немного, не много, а чуть-чуть, правда ведь, и еще много спали, иногда спали целыми днями, было очень сложно вставать по утрам, чаще всего я не вставал раньше часа дня, и меня почти всегда жесть как крыло тревогой, так что к утреннему кофе часто шел косяк и меня немного отпускало, потом иногда я мог просто лежать и типа зависать в кровати, читать какую-нибудь газету, книгу, дремать, смотреть порнуху, дрочить, опять кемарить, валяться и впадать в мутное состояние, состояние гипнагогии, что называется, пока не начинал чувствовать себя неудачником и хотел умереть и снова заснуть, но иногда в голову приходили реально классные решения всевозможных проблем, в основном как мне жить дальше и избежать всей этой пахоты, и воровства, и спанья, и так далее, но проблемы все продолжались, и росли, и росли, по крайней мере так казалось, время только уходило, и я тратил его впустую, я был не идиот, я понимал это, все время об этом думал, то есть если слушать

вот то дерьмо про выживание сильнейшего и одновременно быть полным лохом, бичом, то есть таким себя ощущать все время, ты никакой не гангстер, не король, ты никакой не рыцарь, не ниндзя, не человек, который всего добился сам, ну понимаешь, и я же все время об этом думал, когда ждал автобус, в одну или в другую сторону, когда ждал, пока закончится смена, когда работал десять часов подряд на стройке за какую-то мелочь, которая была пропита и прокурена за вечер, но ведь я знал, что хуже этого только вообще не иметь работы, вообще не иметь лавэ, так что да, приходилось работать, и у меня по-прежнему этот вкус во рту — вкус пыли, кофе, сиг, гудящего баса, вкус потной, много раз надетой маски, вкус работы, все время вкус одного и того же, снова и снова, туда и обратно, опять и опять, вот что у меня во рту, кишка в несколько метров и дерьмо, и не хочу об этом говорить, я даже не хочу об этом думать, понимаешь, я не хочу, чтобы это оставалось во мне, в горле, на языке, во рту, но стоит мне открыть рот, оно вытекает наружу, что мне делать, я открываю рот, чтобы сказать что-то совсем другое или просто чтобы вдохнуть, и оттуда течет дерьмо, течет вся вот эта хрень, все просто вываливается, символы, фигуры, буквы,

цифры, фотографии, видео, истории, печальные, веселые, как та о двух мальчиках, которые гуляли однажды на улице, они покинули свой квартал и вышли, что называется, в большой мир, и вот как развивались события: Была суббота. Они сели на скамейку около киоска. За ними находились школа, пара кустов, круговой перекресток и несколько домов и парковка, где в ряд стояли блестящие машины. Мальчики закурили одну сигу, и достали на двоих банку колы и сникерс, и болтали о чем-то, что их интересовало, — о жизни, о музыке, об обложках дисков, о черепах и всяком. И вот к ним медленно подъехала машина и остановилась. Из нее вышел мужчина и спросил, не хотят ли они подработать. Поработать, сказал он. Немного заработать, сказал он. Они спросили, что нужно будет делать. Раздавать рекламу, сказал он. Его строительной компании. Ходить по элитным жилым кварталам и раздавать рекламу. Они спросили, сколько им заплатят. Пятьсот. На двоих. Конечно, хотим, ответили они. Много денег, подумали они. Они сели в машину. Он отвез их в те кварталы. Они получили по стопке рекламных листовок. Брали каждый по листовке и клали в почтовые ящики, пока он ехал за ними, медленно ехал за ними. Через некоторое время

листки закончились. Ой-ой, сказал строитель. Нам нужно забрать еще, похоже, я забыл их дома. Это ненадолго, сказал он. После получите кэш. О'кей, но только быстро, согласились мальчики. А потом мы получим кэш. Они поехали к нему домой. Хотите, можете курить в машине, предложил он. Потом они подъехали к его дому. Это был большой дом у поля. Он зашел, чтобы забрать листки. Мальчики остались в машине. Курили. Перерыли бардачок в поисках чего-нибудь, что можно украсть. Там ничего не было, только чеки, и ручки, и кассеты с плохой музыкой. Строитель вернулся с двумя коробками. Он поставил их в багажник и сел за руль. Ну вот, сказал он. Поехали! Потом он что-то сказал о машине. Он спросил, умеют ли они водить. Они сказали нет. Хотите попробовать? — поинтересовался он. Конечно, хотим, подумали они. Можно? — спросили они. Да, сказал он. Это не сложно. Нужно время, чтобы освоить педали, но я вам с ними помогу. Садитесь передо мной, сказал он. Вы будете рулить, а я давить на педали. Они согласились. Сначала очередь первого мальчика. Впереди было тесно. Можете еще отодвинуть кресло назад? — попросил мальчик. Больше не могу, сказал строитель. Так что получилось, что мальчик сел к строи-

телю на колени. О'кей, я готов, сказал мальчик. Строитель медленно тронулся. Мальчик обеими руками держался за руль. В положении без десяти два. Строитель засмеялся. Посмотрел назад на второго мальчика. Следи за дорогой, рассмеялся он. Строитель давил на педали и держал руль внизу одной рукой. На шесть часов. Он прибавил скорости. Он немного крутил руль, внизу, иногда отпускал его и оставлял там руку. У пениса мальчика. Другая рука лежала у мальчика на бедре. Он прибавил еще немного. Мальчик следил за дорогой. За разметкой и обочиной. Он слегка поворачивал вправо-влево. Мальчик на заднем сиденье смеялся. Они разговаривали о вождении. Машина быстро двигалась по пустынной дороге. Строитель водил рукой вперед и назад по пенису мальчика. Именно это он и делал. И иногда двигал мальчика, чтобы тот прижимался к его бедру, к его пенису. С некоторым удивлением мальчик чувствовал, как рука строителя трется о его пенис, вперед и назад, вверх и вниз. Мальчик ощущал не страх, а какое-то мутное чувство дискомфорта. Он смотрел на дорогу и думал, что сам управляет машиной. Правда управляю? — думал он. Иногда строитель отпускал руль и клал обе руки на бедра мальчика, на внутреннюю сторону

его бедер. Снова двигал мальчика. Приподнимал и отпускал. Снова проводил рукой по пенису. Это был не страх. Это была неуверенность. Вдруг он все это придумал. Вдруг ему это нравится. Машина плыла вперед. Канавы, поля, одиночные дома. Руки на теле мальчика. Больше ничего. Потом они остановились. Теперь очередь второго. Первый промолчал. Они разговаривали о вождении. Та же история со вторым мальчиком. Они ехали. Они не знали, где находятся. Наверное, прошел час или больше с момента, как они забрали стопки. Знаете, что? — сказал он. Уже поздно. Пораздаете еще в следующий раз. Вот вам ваш кэш. Спросил, не отвезти ли их домой. Возможно, уже темнело. Они сказали, где живут и что он может их отвезти. Они получили пятихатку. Его номер телефона. Если захотят еще поработать. Немного кэша никогда не помешает, рассмеялся он, и если есть какая-то правда в этом мире, то она вот в этом — деньги на карман всегда пригодятся, чтобы не валяться под забором, и вот об этом я думал, когда стоял и чувствовал себя грязным и слабым под высоким фонарем у места для разворота, ночью, у крытой парковки, прямо перед началом большого поля и пашни, там, где он высадил нас несколькими часами ранее, под

фонарем в ярко-желтом свете, и я выдыхал дым, и к свету поднималось облако, делаясь больше и больше, пока не стало совсем нереально, что вот это облако только что было внутри меня, у меня в легких, и затем вышло из горла, и изо рта, и наверх к свету, и вот это сейчас у меня во рту, этот урок, эта правда, что если у тебя нет денег, то ты ничего не купишь, но если у тебя есть немного кэша, немного лавэ, немного пара, немного flous [35], да, тогда ты вдруг можешь достать все, что хочешь, понимаешь, друган? Понимаешь, о чем я, Коди? Слышишь меня? — подумал я и тут же заметил, что гитарист смотрит на меня, и я напряг лицевые мышцы, пытаясь сфокусироваться на его лице, на его глазах. Ну в общем мне это правда очень нравится, сказал он, что О'Каролан прощался не с жизнью, не с миром, а с музыкой. Я вдохнул и услышал слова композиторши: Ага, но что это значит, он, получается, не верил, что сможет встретиться с музыкой после смерти? Я попытался понять, о чем они говорят, и заметил, что канал полон лежащего и качающегося на поверхности мусора: пакеты, пластиковые бутылки, метровый поблескивающий металлом

---

[35] Примечания: 35
Деньги *(фр.)*.

шест. По воде скользили два каяка. Или это о том, что жизнь продолжается, так сказать, после смерти? Да, не знаю точно, что он хотел сказать, пожал плечами гитарист, или о чем он думал в целом. Да, сказал я и собирался добавить что-то о смычковом квартете Шельси, но слова застряли во мне, опять, и после короткой паузы композиторша сказала, что вот это про математику — интересно, и она сказала что-то про *сакральную геометрию*, но что, я не слышал, поскольку снова задумался о Сууте, я все еще думал о Сууте и о том месте, которое мне было предначертано, которого я избежал, на круговом перекрестке, в автобусе, о том движении, которое длилось и длилось, внутри и вне меня.

Все утро, во время репетиции произведения Шельси — точнее сказать, его четвертого струнного квартета — я поглядывал на восковой плющ, который зацвел за ночь. Бело-розовые цветки свисали гроздьями и походили на маленькие-маленькие глаза, которые следили за мной, словно неизвестного вида публика, так я думал потом, вечером, когда стоял у канала, около покрытой гравием дорожки, между водой и зданием полиции, и ждал гитариста и композиторшу. Я собирался поехать с ними в Копенгаген, на кон-

церт с немецким органистом Кристофом Марией Моосманном, выступавшим в кафедральном соборе, Церкви Богоматери. Моосманн должен был играть Пярта, Кейджа и «In Nomine Lucis» как раз Шельси, произведение, звучащее совершенно завораживающе на церковном органе, я знал это по опыту, так как раньше слышал его в исполнении Кевина Бойера, что по уровню, безусловно, по крайней мере в тот раз, соответствовало лучшим органным произведениям Мессиана и Баха. Но утром все это не занимало мои мысли. Как и на прочих удачных репетициях, я был обнулен, лишен слов и понятий, свободен от мыслей, воспоминаний и желаний, но все-таки охвачен своего рода центростремительным движением на пути к чему-то значительному. Я смотрел на ноты перед собой и дышал. Моя грудная клетка, мои легкие и мои руки пришли в движение. Двигался локоть и пальцы. Звук обрел телесность, стал плотью. Я закрыл глаза и перестал быть собой. Сейчас мы подходили к Центральному вокзалу, и гитарист что-то сказал про время, вероятно, потому что увидел на башне циферблат. Его мысль заключалась в том, что у нас все равно есть запас времени до начала концерта из расчета, что поезд не опоздает, и я сказал, что

все нормально, и одновременно подумал, что мне нужно попросить композиторшу повторить то, что она только что сказала о геометрии, и что я хотел рассказать о четвертом струнном квартете Шельси, с которым, в чем я был довольно уверен, ни гитарист, ни композиторша не были даже близко знакомы. Интересными, хотел я рассказать, к чему бы помимо прочего я с удовольствием вернулся (например, к его скордатуре [36] и отношению к золотому сечению), были прежде всего ноты. Произведение было написано так, что каждая струна имела в партитуре собственный нотный стан, как будто оно создавалось скорее для шестнадцати, а не для четырех инструментов квартета, и мне, кто обычно отвечал за *один* инструмент с довольно широким диапазоном, теперь нужно играть как будто на четырех отдельных инструментах, которые, если считать их самостоятельными, были беднее с точки зрения выразительности и звучания, но которым каким-то образом, и вот это-то я и хотел обсудить с гитаристом и композиторшей, вместе удавалось создавать что-то *иное*, что-то *большее*, чем звучание виолончели, и благодаря которым,

[36] Примечания: 36

Скордатура — настройка инструмента, отличающаяся от обычной, стандартной.

при условии что я исходил из того, что то же относилось и к остальным инструментам квартета, мы становились чем-то иным, нежели просто струнным квартетом. Но чем? И почему? И как это соотносилось с характером произведения, его дерзостью, подъемами, падениями, трепетанием, некой борьбой между тяжестью и легкостью, между гравитацией и невесомостью? Играть его от начала до конца – это как падать вверх. Звучит разумно? — хотел я спросить композиторшу. Что там она сказала про геометрию? Я не вник в ее слова, потому что вместо этого видел Суута, стоявшего прямо у меня перед глазами, парящего у меня над головой, как какое-то бесформенное создание, неосязаемый, невидимый свет, и слышал, как он говорит, монотонно, да, беззвучно: Так что я не знаю, Коди. Why? Солдат умирает, в него стреляют. Чего необычного? Ведь этим они и занимаются, солдаты. Они умирают, падают, роняют оружие, кто-то ловит их так, как на фото, в падении, *падающими*, в воздухе. Кто-то делает снимок, он становится постером, и потом снимки плакатами расходятся по миру. Затем мы сидим там, много лет спустя, под этим снимком, и Дензо по обыкновению подготавливает табак, и в мыслях, наконец, ненадолго наступает

тишина и покой, наконец, небольшая *передышка*, что называется, наконец *respectus, refugium, sanctum* [37], такие слова, с которыми носятся чистенькие мигранты, и знаешь, мой батя говорил, что это рай, а через тридцать лет он признал, что все это было гребаным фейком, ложью, и что он жалеет об отъезде, эмиграции, как он говорил, эмиграции, потому что, ну знаешь, он никогда не считал себя приезжим, каким-то долбаным мигрантом, он был эмигрантом, чувак, он уехал, братан, и он сказал, что жалеет обо всех тридцати годах в изгнании, что ему очень жаль, знаешь, он собрался извиняться за все, тогда, когда уже было слишком поздно, но знаешь, мы просто сидели под плакатом с умирающим солдатом и осторожно передавали по кругу бонг, а потом я блевал, опять, как всегда, с Дензо, вот так его звали, это был он, но why? — мы угорали, помнишь? Две бас-бочки «Металлики», калека в клипе, ох, не знаю, нет никакой справедливости, не могу жить, не могу умереть, в заложниках у самого себя, абсолютный кошмар [38], а мама смотрит Опру,

[37] Примечания: 37

Уважение, убежище, святилище (*лат.*).

[38] Примечания: 38

Аллюзия на текст хита группы «Металлика» «Один»: All that I see, absolute horror/I cannot live, I cannot die/Trapped in myself…

мама смотрит «Гламур», и ну знаешь, ты слышал, что Ольга вернулась в Казахстан, но ее, короче, быстро занесло в Россию, она стала, что называется, ночной бабочкой, в Новокузнецке, и начала ширяться спидами и герычем, я об этом знаю, потому что общался с ней через два месяца после того, как она свалила, потом наступила тишина, и пошли слухи, что она подсела на крокодил, а в таком случае довольно скоро будут хоронить то, что осталось от ее потрепанного тела, но типа, клянусь, помнишь, как его, Андена, во дворе он строил из себя крутого, я звал его негром, а он меня бабой или педиком, когда мы ссорились, вот так мы обзывались в детстве, но это не он, и не Дензо, не он, по-моему, он жив, и это не Нико, мы называли его Нико, его звали Никлас, он умер, умер, лет, так, десять назад, уже десять, он умер перед теликом, мама его там нашла, ты знал? Умер перед теликом, сердце остановилось или что-то вроде, перестал дышать, захлебнулся блевотиной, не знаю, что случается, когда вколешь себе слишком много герыча, но мать нашла его перед теликом, мертвым, передоз, и я всегда представляю белый шум и как его мама входит туда в комнату и видит, что ее сын мертв, парень, с которым, типа, я когда-то играл, и вот здесь

можно задать себе вопрос *почему?* — понимаешь, он же не был солдатом, или ладно, может, и был, в общем, что такое война? Наверное, фишка в том, чтобы найти банду покрупнее. Арбен ведь предпочел поехать в Косово, а не оставаться здесь со своей тревогой, если помнишь, и в те времена мы думали, на хрена он это делает? А сегодня это само собой разумеется, почему бы ему туда не поехать, и сегодня они уезжают в новые места, где есть самые крупные банды, по крайней мере те, которые для них доступны, то есть копами или военными им не стать, слишком поздно, но не знаю, насколько я понимаю, к Нико это тоже не имеет отношения, он был просто обычным торчком, и еще не знаю, почему я думаю о белом шуме, если он смотрел не видео, если он смотрел телик, то он ведь продолжал работать, ведь телепрограммы не закончились только из-за его смерти, все ведь продолжается, жизнь продолжается, телевидение вещает, реклама продолжается, новости идут, сериалы, фильмы, ток-шоу, юмористические шоу, остросюжетные программы, сентиментальные программы, криминальные программы, и вот мама вошла в комнату и увидела труп своего сына, и вот она подняла его голову, ну знаешь, какая мертвая

голова тяжелая и холодная, весит до хрена, брат, и она ударила его в голову и в грудь, и трясла, и теребила своего сына, трясла этот труп, безуспешно пытаясь вдохнуть в сына жизнь, его жизнь ушла, она закончилась, мать видела ее начало и конец, однажды его не существовало, потом он существовал, и теперь его снова не существует, а вся остальная жизнь продолжается, и вот этот момент трудно осознать, я сам понимаю, но прости, Коди, прости меня, не хочу об этом говорить, это просто глупо, мне стыдно, не хочу об этом думать, не хочу рисовать эти картины, поскольку знаю, как реагируют люди, когда их видят, как делали мы, когда сидели у Дензо в комнате в приюте, под этим плакатом, ну *why?* — это нужно высмеивать, угорать над этим, говорить ну *и?* — умирает торчок, умирает солдат, чурка-бандит кончает пулей за ухом, пулей в животе, пулей в сердечной мышце и что в этом такого? Поверь, я не хочу, если бы у меня был выбор, я бы заткнулся и поковылял дальше, но я не могу — это заливает мне глаза, звенит у меня в ушах, и у меня правда набит этим рот, его телом, его детским телом, тем, что мы были детьми, что мы, что называется, играли, когда были маленькими, что мы гуляли и болтали, обыкновенно, как все дети, ходили,

болтали, размышляли, играли, а потом белый шум, потом тяжелая холодная голова и взгляд его матери, но я не знаю, что там случилось, папа у него тоже вроде умер от передозировки, я зову его Нико, он жил в районе Мёллан, мы ходили к нему домой, смотрели какой-нибудь фильм с Брюсом Ли, короткие отрывки из разных фильмов про ниндзя, он всегда нес столько фигни, гнал, как мы говорили, выделывался, как мы говорили, врал, и хвастал, и манипулировал, хотел казаться взрослым и крутым, с детства, да, по-моему, его батя тоже передознулся, раньше, когда Нико был маленьким, но не знаю, он мне, кстати, позвонил, потом, когда мы выросли, за пару лет до смерти, ну и как я говорил, люди над таким смеются, над такими, как он, не помню, чего он хотел, только я не хотел с ним разговаривать, таким душным, таким мерзким он был, он врал, и это было совершенно очевидно, никакого достоинства, никакого самоуважения, слишком много выпендрежа, так что это не он, он уже мертв и похоронен, и меня там не было, я не знаю, может, кто-то из родственников, сколько ему было, лет двадцать, все-таки в каком-то смысле брат, как ты, ведь так, браток, правда, Коди, браток, а? — скажи мне заткнись, я бы хотел заткнуться, я бы

хотел закрыть рот, заклеить эту дыру, избавиться от нее, уйти прочь, в туман, что называется, в другой туман, но я все время это вижу, глаза, типа, в этом плавают, глаза как будто из этого сделаны, оно в голове, как фильтр, как органный тон, как плева, я не знаю, я правда не знаю, кто лежит в гробу, в печи крематория, но во всяком случае это не Каро, ведь она отсидела свое, собралась с мыслями, начала новую жизнь и бросила Влада и его грязную дилерскую жизнь, и это не Саладин и компания, они живы, продолжают отжигать, да, но я сам их видел, но не Ронни, Ненада или Саида, потому что они совершенно обычные цивилы с накоплениями на пенсию и летними домиками, и это не Тиндра, как она себя называла, потому что она тоже жива, она опустилась, да, но жива, и если уж быть честными, то вы и обо мне так говорите, правда, Коди? Разве не так это звучит, когда ты раскрываешь рот, чтобы поговорить о своем друге, своем товарище, своем брате, ты говоришь «нет», на этот раз это не Суут, он жив, говорят, жив, бездомный и большую часть времени в полупсихозе, но жив, и куча бреда про вишневый сад туда-сюда, меня скоро накроет, ты всегда несешь столько гребаной фигни. Разве не так, Коди? Разве не это ты говоришь? Нет, не Суут,

нет, он жив, жизнь его потрепала, но он жив, и знаешь, в детстве мы целовались по приколу, как педики, да, именно, когда мы были маленькими, мы пили ром и курили гаш, курили куш, баловались травкой, как братья, занимались петтингом как гребаные понаехавшие педики, никому ни слова, тайком, гей-братья, вот так ты говоришь, чувак, братья по петтингу, и встречались с турецкими телками у бани, я помню, одну звали Айсен, вторую не знаю, вроде что-то на «Т», но тогда мы были братьями, а, браток, панками и хардрокерами, детьми, мелкими, сопляками с сигами, и гашем, и маркерами в поясных сумках, с ножами-бабочками и стилетами рыскали по округе ночами, Репербан, Алтона, Каровиртель, а, дигга [39], совершали взломы, воровали, когда были маленькими, ходили на концерты групп «Die Fabrik», «Docks», «Große Freiheit», «Markthalle», «Störtebeker», видели «Fugazi», «Cypress Hill», «Sick of It All», «Strife», «Unsane», обдолбанные мошились [40] в поту, крови и харче, пьяные от адреналина звереныши, вся эта быдло-тема, полный треш, мальчики с пушком, типа вымазанные

---

[39] Примечания: 39

Digga — бро, чувак *(нем.).* В основном используется в Гамбурге.

[40] Примечания: 40

Танцевали агрессивный танец мош.

этим американским дерьмом, и мы смотрели фильмы, слушали диски, где-то слэмились и где-то танцевали пого, just another victim, kid, испачканные кровью из носа, но чья эта кровь, kid? Разве не это ты говоришь, Коди? Не спали ночами и смотрели клип за клипом, группы «Suicidal Tendencies», особенно их «War Inside My Head» [41], но еще и чешскую группу «Psí Vojáci», солдат-псов, и потом еще их песню о бритве, бритвой по телу, бритва в теле, и наши бати оба резали себе руки, вот такие братья, и его мамаша, которая слышала, что нет ничего приятнее, чем когда кровь покидает тело, когда утекает жизнь, лучше, чем самый крутой наркотик, лучше, чем крэк, лучше, чем спидбол, но что происходит, спрашивали мы, ты как будто поднимаешься и опускаешься одновременно, и мы угорали, мы смеялись, пили холодный растворимый чай и совершали небольшие вылазки к морю, я помню того мужчину, который никогда не видел моря, он поехал на остров Хельголанд, спер из магазина бутылочки с водкой и спрятал нас под лестницей там, на пароме, заливаться спиртным из горла, хихикать как идиоты, Швеции не существует,

[41] Примечания: 41
«Война в моей голове» (*англ.*).

Дания уйдет под воду, Германия, мы тебя любим, Югославия в огне, Европа – это будущее, восточноевропейские ребята трахают себя в задницу бирюзовыми двусторонними дилдо, их нежные мечты, которые жидко вытекают как настоящее дерьмо, что происходит, чувак, насколько трудна может быть жизнь, если оставаться совсем честным, и много ли нежности в том, чтобы самому покончить с жизнью, просто каким, каким собранным становишься, да-да, это был полный треш, и это было тем, к чему стремишься, так что мы свалили в Бамбуле [42], лазали между вшивыми фургонами, склизкая почва, доски, мусор, костры в больших ржавых бочках, в тележках из супермаркета, тряпки, слоганы, флаги, анархия для идиотов, говорили мы между собой, даже мы, говорили мы, дети, начали читать Бакунина и Голдман, но те типы и их телки — чистые, стопроцентные придурки, говорили мы между собой и ржали, они тупые сукины дети, говорили мы между собой и в темноте различали манекена без ног, покрытого тегами и следами от стикеров, мы постучали в дверь фургона дилера, эта жирная анархистская свинья лежала и смотрела фильм,

[42] Примечания: 42
Бамбуле — трейлерный парк в Гамбурге.

какой-то дебильный американский говно-фильм, его гребаный дорогой велик висел на стене, чистый и красивый в этой дыре, на журнальном столике лежал пласт граммов на пятьдесят или больше. Че как, дигга? — сказали мы. Чего вам? — ответил он, уродливый анархист, а у нас было двадцать марок, так что Суут сказал, что хотим взять на двадцатку, и большой свободолюбивый анархист с татухами в половину годовой зарплаты заржал над нами. Двадцатку? Чертовы сопляки, да хрена с два я встану за долбаную двадцатку, и мы стояли и раздумывали, а потом подошли к кровати и дали пивной бутылкой по башке этой революционной анархистской сволочи, достали нож, и Суут просто держал его в пяти сантиметрах перед башкой обосравшегося анархиста, и так мы стояли некоторое время, ничего не происходило, кроме того что сердце у меня билось как бешеное, а большой бунтарь-анархист продолжал язвительно трепаться, типа, чтоб мы валили на хрен и трахали наших мамок и что мы сопляки, но нам было пофиг, мы видели, что он боится, и в конце концов он поднял свой жирный зад и отрезал не меньше пятака и не решился ничего делать, когда не получил даже нашу двадцатку, а мы не решились взять целый

пласт, только сказали, что и так сойдет, ленивый ты мудак, и вышли, и плюнули на его дверь, и потом бежали сломя голову мимо фургонов и мутных панков в футболках с логотипом группы «Bad Religion», деток богатых родителей в Баварии, и потом мы несколько месяцев не могли туда ходить закупаться, но нам было пофиг, потому что мы нашли нового барыгу, и так далее, и так далее, так это звучит, Коди, ты говоришь, что это действительно правда, мы начали читать, и мы начали разговаривать о книгах, да, это правда, я и Суут, в детстве мы вместе читали Кафку, о том самом превращении, мы курили бонг, и я заблевал его комнату, нам потом пришлось вырезать кусок ковролина, мы зависали в сквоте на Лайештрассе, или где, блин, это было, и у какого-то приятеля Суута, который все гребаное время крутил Снупа, а я лежал, опустив голову в унитаз, и блевал, и блевал, и блевал, пока не выходила густая желчь и живот выворачивало еще больше, но ничего уже не выходило, и Снупом был Снуп Догги Дог [43] на фоне, и так далее, такая скукота, но ты ведь так говоришь, Коди? Нет? Но не знаю, ведь нельзя сказать, что мы не

[43] Примечания: 43

Имеется в виду американский рэпер Келвин Кордоза Бродус-младший.

пытались, Коди, то есть я правда поехал на то последнее собеседование с честными намерениями, как говорится, чтобы получить место на этих курсах, чтобы получить работу водителем погрузчика, и мне задавали кучу вопросов, и я отвечал, и я сказал те самые слова, что родился в Праге, и я знал, что они просияют и скажут, ах, там так красиво, и я знал, что картинки, всплывшие у них в голове, были подписаны «Карлов мост, орнамент рококо и югендстиль», и поверь мне, Коди, поверь мне, я знаю все об этом всем, я знаю все о югендстиле, и ар-нуво, и всяком таком дерьме, или по крайней мере столько же, сколько они, я всю жизнь рисовал граффити, да ведь я тоже листал те книги, сидел в библиотеке, я не идиот, знаю, откуда я, и я знаю, что они увидели, они увидели подсвеченную ночью крепость, они увидели позолоченные шпили, уходящие в небеса, тянущиеся вверх, всё тянулось вверх, как листва у Мухи, сужаясь и сужаясь, как тела у Эгона Шиле, всё стремилось подняться и вытянуться к небу, к красоте и к чему-то почти божественному, но конечно, сохраняя тяжесть и фирменную кафкианскую черноту, и, может, они

еще читали Грабала [44] и сейчас видели перед собой, как какой-то обаятельный пьянчуга ковыляет домой по брусчатке ночного Старомака, бормоча секреты под мелодию настолько же фирменного, насколько обаятельного дерганого диссидентского джаза, или какой-то гребаной скрипки, или чего-то подобного, но знаешь, я не оттуда, хотелось мне сказать, я к этому не имею никакого отношения, ну знаешь, там наверху, там в центре, там живут те, кто правит, хотел я сказать, но не сказал, знаешь, я из мест, откуда не выходят те, кто правит, это я тоже не сказал, я из Гайе, не сказал я, а стоило бы сказать, это тоже находится в Праге, идите домой и погуглите, не сказал я, я из района Йижни-Место, из *Йижака,* с конечной, с конечной навсегда, лучше идите домой и погуглите, не сказал я, а стоило бы сказать, вспоминайте не Бедржиха Сметану, а рэперов «Peneři Strýčka Homeboye», врубаетесь, вспоминайте даже не «Plastic People», или «DG307», или еще какое-нибудь подобное дерьмо из семидесятых, когда наши бабушки и дедушки пахали и помалкивали, а наши мамки тащили на себе дом и готовку и искали наших папаш, которые прята-

[44] Примечания: 44

Грабал, Богумил (1914–1997) — чешский писатель, номинант на Нобелевскую премию 1994 г.

лись в барах за бородами и длинными волосами и антисоциальной контркультурой, а больше «Chaozz» и «Prago Union», «Naše Věc» и «DeFuckTo», короче, только курить траву, и нет будущего, если понимаете, о чем я, но вы не понимаете, не сказал я, а сказал только, да, там красиво, и в общем это в каком-то смысле было правдой, потому что так есть, там красиво, по-своему, хоть и уродливо, если понимаешь, о чем я, но ты не понимаешь, или не знаю, может, и не красиво, я не знаю, красиво ли там на самом деле, то есть дома, улицы, зелень и все прочее, но я имею в виду другое, что я люблю выйти на улицу ранним осенним утром или что, по крайней мере, есть что-то маленькое, малюсенькая часть этого, хотя, конечно, там есть тревога, потому что идешь на какую-нибудь дерьмовую работу, если повезет, идешь туда, где тебе как всегда расплавят мозги, но все равно, есть что-то маленькое, какая-то часть, что-то, что я могу любить, когда иду там утром, бывает немного морозно, как будто даже висит дымка, или чуть моросит, или, так сказать, ранняя осень, середина сентября, на земле скапливается листва, и я выхожу на улицу и сразу вижу бригаду строителей лесов, которые гремят металлическими трубками и досками, мягкими польскими или

резкими литовскими словами, и вот появляется беззубый медный вор на велике с ящиком с инструментами и маленьким радио, работающим на солнечных батареях, тело у него изношено наркотиками, но руки на руле сильные, мощные и жилистые, как будто он сбежал с одного из тех монументов в стиле соцреализма, которые наши предки воздвигали в честь пролетариата, во славу труда, и мы встречаемся глазами, как раз когда я прохожу мимо парикмахерши, стоящей перед входом в свой салон и курящей первую за день сигарету, и я здороваюсь с ней, а она здоровается со мной, и я иду чуть дальше и подхожу к краю площади, где уже бодрствуют алкаши и торчки, и какая-то женщина из их компании смеется и улыбается и говорит *доброе утро,* и я отвечаю тем же, и ее мужик, идущий в паре метров позади нее с проколотым великом, говорит *добрый вечер* и сипло смеется, и я качаю головой в ответ на эту фиговую шутку, но в каком-то смысле радуюсь тому, что они радуются, и я прохожу мимо торговца, распаковывающего товар, и иду дальше, короче, просто иду там, вдоль другой улицы, смотрю на молодежь, они курят и пьют энергетики, выкидывают громыхающие алюминиевые банки на тротуар, двое мужчин идут с заброшенного

участка, где они ночуют под брезентом, между паллетами, и один из них наклоняется и поднимает каштан, взвешивает на ладони, держит его, смотрит на него и снова кидает, вверх на дерево, вверх в листву, и он там остается, как будто этот мужик — гребаный ангел, а может, демон, не знаю, в чем разница, он снова забрасывает его на дерево, в кору, в ветви, в ствол и вниз в земной ад и его горящее ядро, и я закрываю глаза, но быстро открываю и вижу нюхающих и писающих вокруг собак, грустных детей, которые не хотят в садик, я будто вижу, по-настоящему *вижу* все это движение, сечешь, Коди? Врубаешься? Не знаю, Коди, но вот здесь мне становится так понятно, так очевидно, что всё связано, Коди, разве нет, Коди? Может быть, в этом вся фишка, может, в этом вся красота, как говорится, в этой общности, в том что мы в каком-то смысле все идем в одну сторону, что ждем один автобус, заходим в один автобус и сидим там, стоим друг за другом на эскалаторе, спускаясь вниз в тоннели, сидим напротив друг друга в метро, молчим, но переглядываемся, обмениваемся энергией, касаемся одних и те же предметов и дышим одним воздухом, вдох-выдох, вдох-выдох, постоянно, снова и снова, не знаю, конечно, во всем этом тяжесть, и

уродство, и утомление, и наркотики, но все равно хорошо возвращаться домой, вот я о чем, все равно приятно увидеть друзей, сестер, братьев, все равно есть красота в их борьбе, каждый день, каждую ночь, красиво, как говорится, так что да, вы правы, красиво, вы совершенно правы, хотя не знаете, о чем говорите, понятия, блин, не имеете, естественно, не сказал я, но должен был, а, Коди? И ты говоришь, да-да, Суут, успокойся, и мы ржем, и ты говоришь, да, ты прав, чувак, ты должен был это сказать, но почему ты не сказал? И я говорю не знаю и посасываю зубы, чувствую гравий и вкус крови, чувствую, как тянет покурить травку, выплевываю скопившуюся от движения языком пену и показываю на свою голову и говорю «*Dezorient express*» [45], чувак, и *погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не могу*, и вот мы опять там со всем этим дерьмом про вишневый сад, и вот интересно, что это за гребаный сад, о каких это вишнях тут речь, откуда они, и я не знаю, и снова делаю это вот с зубами и говорю, короче, я всегда завидовал тем, кому не приходилось забивать на своих родителей, то есть я думаю о тех, кто

[45] Примечания: 45

«Дезориентирующий экспресс» (*англ.*) – название хита из одноименного альбома группы «Prago Union».

может своими родителями восхищаться, то есть не потому, что они унаследовали летние домики или что-то такое, но понимаешь, потому, что они были достойными, честными, работящими, просвещенными, понимаешь, борцами, и, честно говоря, культурным средним классом, вот о чем мы говорим, то есть мигрантами, которые, если бы не, что называется, эмигрировали, оставили бы дачу в наследство, если понимаешь, о чем я, спасибо маме, что ты научила меня бороться изо всех сил, или чистить зубы, и ах, спасибо, папа, ты научил меня всему о двигателях внутреннего сгорания и философии, ты объяснил мне, что значит гордость, и ты научил сеструху стоять за себя, научил брательника справляться с алкоголем и насилием и всяким таким, понимаешь, о чем я, Коди? — говорит Суут, и я вижу его перед глазами, Суут, вспоминаю его сеструху, Васти, мы звали ее Черри, в честь ягоды, или Нене [46], не знаю, но это не имело отношения к садам Суута, никакого, но она была его сеструхой, и я помню, как пришел к ней домой, и кухня была разнесена, и я помню, что она уже не плакала, только выглядела угрюмой и суровой, убирала за

[46] Примечания: 46
Черри, Нене (р.1964) — шведская певица, поэт, композитор.

ним, дети были у соседей. Я спросил: Кто разбил шкафчики, тарелки, стаканы? И Черри сказала: Ты знаешь кто. Суут, мой брат, мой родной брат. Мой родной братик. Кровь и плоть. Почти все общее. Детство. Воспоминания. Полжизни. Да больше. А сейчас. Что сейчас? Он психованный, бездомный, алкаш, таблетки, что я знаю, шиза, шиза, шиза. Я хотя бы не такая. Я забочусь о себе. И о детях. Точно не как он. Все братья и сестры не такие. Немного самоуважения. Мы боремся каждый день. Заботимся о себе, друг о друге. А кто заботится о нем? Никто. Вот так. Сам он — нет. И больше никто не вывозит. Мучает совесть, но его никто не вывозит. Черри убирала, я ей помогал. Я сказал: Я знаю. Я тоже порвал с ним контакты. Мы вместе покурили. Подрались. Ну или почти. Он не рассказывал? Он хилый, но бросился на меня. Это было ночью у заправки на Фельдштрассе. У метро. Мы купили пива и о чем-то повздорили. Не помню, о чем. Я держал его руки, потому что он на меня бросился. Помню, я, блин, так взбесился, что зрение у меня стало тоннельным. Я бы мог его прибить, я знал. Поэтому держал ему руки. Видел только его, его долбаный прыщавый соплячий фейс. Он бросился так, будто собирался меня ударить, но я схватил его за запястья и

крепко держал. Я сжимал сильно. Очень сильно. Ему было больно. Он начал ныть. Я сказал, что если он еще раз попробует меня ударить, то я его отметелю. По-настоящему. Потом я его отпустил. И короче. Фишка в том, что мой батя стоял поодаль и смотрел. Он ничего не предпринял. Только нервно улыбался, прикидывался бывалым и пил пиво. Но потом Суут заявил, что я без всякой причины его травмировал. Полный бред. Он показал запястья. И там были синяки. Естественно. Я крепко его держал. Как я уже говорил. Я держал его крепко, чтобы не прибить. Там были темные, почти черные синяки. Все это было ради него, ради его же блага, как говорится. И он всё ныл и ныл. А батя, который ведь все видел, ничего не сказал об этом. Он сказал только, что нам нужно перестать ругаться и гундеть. Но после этого я долго не общался с Суутом. Так что я тоже от него отдалился. Из-за ссоры и потому, что он звонил мне посреди ночи. Не слушал. И Черри сказала: Я знаю. Я тоже. Потому что он у меня воровал. Потому что приходил сюда и был агрессивным. Приходил сюда со своими шлюхами. Я не хотела, чтобы дети это видели. Им не нужно с таким сталкиваться. По крайней мере пока. Или по крайней мере с таким помимо

того, что они успели пережить. Не так много, как мы, если понимаешь. Я просто-напросто от этого устала. От психопатической трепотни Суута. От вранья Суута. От вспышек Суута и обвинений. От ругательств Суута и разврата. Прежде всего я не хотела рисковать тем, что он на них набросится. Не то чтобы я думала, будто он это сделает. Но никогда не знаешь. Я сказал: Да, никогда не знаешь. Да, никогда не знаешь в его случае. Может случиться все, что угодно. Никогда не знаешь. Можно лишь надеяться, держать кулачки, ждать. Неизвестно. Зависит от многого. Черри сказала: Всё зависит. Зависит от того, что он принял, или что не смог достать, с кем поругался. Все время конфликты. Я сказал: Всегда. И они всегда неразрешимы, потому они ему необходимы. Не то чтобы я хочу говорить, как его психолог или как-то так. Но знаешь… И она сказала: Не то чтобы я тоже хочу говорить, как его долбаный психолог, которого у него никогда не было как такового, потому что не так уж, черт побери, легко ходить к психологу, по-настоящему, поверь мне, он никогда не выдерживал больше двух-трех раз, а уж так, чтобы отнестись к этому серьезно и что-то сделать со своими проблемами, вообще забудь, но, знаешь, конфликты неразрешимы и

нужны ему, поскольку его представление о реальности диаметрально отличается от взглядов всех остальных. Клянусь, его мозг совершенно сожжен, чувак. Он заливал в него эту химию с двенадцати-тринадцати лет. Каждый день. Мы живем в разных мирах. Как тогда можно договориться? Никогда не знаешь. Если он приходит в гости к детям, например. Сегодня у него с собой нож? Перцовый баллончик? Как с ним жить? Как? Я с ним не живу. Больше не живу. Хватит. Понимаешь? Я сказал: Слушай, безумие в том, что я иногда думаю, что с такими людьми нельзя ничего сделать и что их на самом деле нужно лишать жизни, чтобы всем стало лучше. Чтобы они не принесли больше страданий. Серьезно. Себе, другим. Чтобы они не родили еще детей. Чтобы не видеть их стоящими около коляски, несущими всякую хрень, с банкой алкоголя и таблетками по утрам, когда направляешься в школу или на работу. Черри спросила: Серьезно? Я сказал: Клянусь. Но это полное безумие. Я знаю, полное безумие. Но у меня такие мысли, клянусь. Если бы только они могли исчезнуть. Если бы только я мог их не видеть. Но все дело не в этом, это лишь импульс, некий ментальный механизм или, не знаю, как сказать, реакция, понимаешь, но стоит

мне немного поразмыслить, и это проходит, но что я хочу сказать, что если я так думаю, то есть я, у кого на самом деле совсем другие ценности, что называется, совсем другие взгляды, кто думает по-другому. Слушай, я бы никогда ничего такого не сделал, ну, это всего лишь мысль, чувство, реакция на что-то, на них, на их способность вроде как захватывать мою жизнь, ну, реакция на угрозу, которую они несут. Ну то есть, что я хочу сказать, если я так думаю, то что думают все копы, все, кому действительно есть что терять, все, кто, типа, что-то может сделать со своими мыслями, понимаешь, о чем я? У тебя не бывает таких мыслей? Черри сказала: Ну, нельзя так думать. Я сказал: Я знаю, но думаю. Черри сказала: Нет, так нельзя. Я услышал голос композиторши: Типа почти семь часов «Well Tuned Piano» [47] или «*In C*» Райли [48], хотя возможно с чистым строем, знаешь, что-то такое, где-то в отдалении, и я заметил уголком глаза, что прямо на нас на большой скорости ехал желтый автобус, и я чуть отпрыгнул, сделал

[47] Примечания: 47

«Хорошо настроенное пианино» (*англ.)* – композиция для пианино композитора Ла Монте Янга, написание которой не окончено.

[48] Примечания: 48

Имеется в виду композиция Терри Райли для неограниченного количества исполнителей с произвольной последовательностью исполняемых фраз (1968).

движение, которое, как мне кажется, было и намеренным и рефлекторным одновременно. Или, может, импульс возник на самой границе между рефлекторным и намеренным, осознанным, если такая граница существует. Не знаю, сказал гитарист, но это все такое, черт побери, *американское*, если понимаешь, о чем я, в то время как у кого-то типа Джулиуса Истмана не было шансов. Правда, сказала композиторша, а почему, ты думаешь, так получалось? Почему кого-то превозносили и восхищались, в то время как другие становились зависимыми и бездомными, а потом умирали в забвении? Но знаешь, Суут, слышу я собственный голос, не отвечая композиторше, ведь мне всегда нужно его защищать, всегда говорить о нем что-то хорошее, всегда искать какой-нибудь позитивный угол зрения, всегда за него заступаться, хотя он, наверное, этого не заслуживает, хотя он грязный нищий понаехавший, я услышал, что его так называет Васти в телефонном разговоре с приятелем, но знаешь, начинаю я, подумай сама, он не всегда был таким, когда мы были маленькими, он был умным, интересовался всяким, как и все дети. Они хотят вырасти, как-то выучиться, развиваться, но он слишком рано начал употреблять, его это разрушило, говорю я,

родители у вас были конченые, говорю я, хотя из-за собственного дерьма, как он мог справиться, но конечно, я понимаю, все не так просто, в какой-то мере он сам должен брать ответственность за свои поступки, в какой-то мере это его вина, я знаю, и вот я уже жестикулирую, по крайней мере мысленно, начинаю необычно двигаться, по крайней мере внутри себя, я знаю, знаю, я чуть его не избил, мелкого сукина сына, но ему нельзя делать все, что угодно, вести себя, как ему, блин, вздумается, без уважения, но знаешь, думаю я, все могло бы быть по-другому, разве не так, почему все не могло бы быть совсем по-другому? Но как, как, я не знаю, слушай, но все начиналось по-другому, все было по-другому, прежде чем стало вот так, он был другим, прежде чем стал таким, и вот я продолжаю болтать, все больше и больше, и кругами, и кругами, слова идут, и идут, и идут, пока я не попадаю в это все с вишневым садом, и слушай, я слышу только голос Суута, который говорит про вишневый сад направо и налево, ты что, больной, брат, да хрен с этим, он смеется, его смех звучит, как хриплый голос Тупака, да брось, брось эту тему хоть один гребаный раз, клоун, я задолбался тебя слушать, мой мозг кровоточит от твоего голоса, врубаешься?

Все кончено, все закончилось. Слишком поздно. Нельзя так думать, сказала Черри. Тогда лучше, что все так, как есть, всегда. Лучше не будет, то есть не станет проще или понятнее. Но все равно приходят такие мысли. Ну понимаешь. Я прохожу мимо той площади каждый день. Каждое утро, каждый вечер. Каждый будний день, а часто и по выходным. Каждый раз я их вижу. Я не знаю их имен, но узнаю́ лица, пожилой юг с хвостиком, короче, полька без зубов, худой турок с глазами навыкате, вечно смеющийся хардрокер и потом те двое мелких барыг, близнецов, кто они там, латиносы, арабы, не знаю, но всегда в костюмах «Адидас». Я вижу их каждый день, почти. Как только их утром выставляют из ночлежки, они приходят сюда. И я думаю о нем, может, скучаю по нему. И? О чем ты? Я о том, что о'кей, ядро, сердцевина, что это? Что это могли бы быть мы? Что это мог бы быть я? Конечно, это правда. Банальнее некуда. Это правда. Это место, которое было мне суждено и которого я избежал. Эта собачья жизнь. Наркотики, криминал, смерть. Тюрьма, грязные матрасы и диваны, барыги, психушка, роща памяти [49]. Полный набор. Эта

[49] Примечания: 49

Имеется в виду специально отведенное место на кладбище, так называемая роща памяти (minneslund), где можно развеять прах.

жизнь и эта смерть. Это правда. Но что это значит? Как ты думаешь, что это значит? Конечно. Да. Ты права. Тут не какая-нибудь простая *вина выжившего*, если ты так думала. То, что я чувствую, — только отчасти сочувствие, эмпатия, понимание. Еще мне хочется их уничтожить. Они мне противны. Ты когда-нибудь видела, как опускается человек? Насколько близко? Слабость, телесные жидкости, бесстыдство, духовная и интеллектуальная бедность. Убогость. Посмешище. Ненависть к себе, говоришь. Диванный психолог. О'кей, может, чуть-чуть. Это грань. Ты видишь грань. Грань между человеком и животным. Но мне кажется на самом деле крайне странным, что никому не пришла в голову мысль просто-напросто их уничтожить. Они не приносят никакой пользы, бедняки, те, кто не нужен на заводах, кто не нужен на производстве, в медицинской системе, на бранном поле, на бордельном поле, почему никто не сделал это официальным, организованное уничтожение ненужных жизней, использованных или не пригодных к использованию, увядающих, почему для них нет никаких лагерей смерти, не понимаю, даже мне приходила в голову такая мысль, даже мне, кто мог бы быть одним из них, как я уже говорил, это

— место, я говорю это снова и снова, пока не прояснится смысл, пока не выкристаллизуется смысл, истинное значение этих слов, пока что-то непроизносимое не станет манифестом, каким-то еще не поддающимся описанию способом, я снова это повторяю, это — место, которое было мне суждено и которого я избежал, и если даже я думаю, что, возможно, лучше всего было бы просто-напросто от них избавиться, как поступают с вещами, которые больше не приносят пользу, как поступают с животными, которые больше не выполняют никакой функции, это, как замечали многие, правда, что-то, что человек может сделать с животным, с крысой, собакой, обезьяной, всё, что человек может сделать с животным, он может сделать с человеком, утверждение, что человеческая жизнь сама по себе имеет ценность, смехотворно, в этом контексте оно смехотворно, странно, абсурдно, почти тошнотворно в своем лицемерии, все, что ты можешь сделать с крысой, ты можешь сделать и с человеком, а с крысой ты можешь делать все, что угодно, и когда я прохожу мимо площади каждое утро, каждый вечер и в выходные, порой со знакомыми или в одиночку, и вижу их, их лица, и узна́ю их, не зная их имен, но я узна́ю их лица, их тела, и каждый раз

я думаю, что это — их жизнь, почему никому не пришло в голову просто-напросто их ее лишить, вернее, почему никто еще не воплотил это в жизнь, мысли такие есть у меня в голове и наверняка в их собственных головах, самоубийство ведь тоже решение, похороны настолько дешевле, чем весь этот уход, вся эта реабилитация, все эти полицейские процедуры, строительство всех этих тюрем, исправительных учреждений, и так далее, и так далее. Весь этот паллиативный уход, все бесполезно. Все, что человек может сделать с животным, он может сделать и с человеком. Да, это точно наступит, сказала Черри, мы точно это испытаем, сказала она со страданием на лице. На фотографиях — улица, которая у вас считалась бы ничем не примечательной, но которая является настоящим оазисом в их пустыне, сказал фотограф Риис группе благотворителей. Со всех сторон ее окружает плотное скопление грязи и множество улиц, кишащих представителями молодого, нищего и немытого поколения. Но ее собственная мостовая относительно свободна от детей, которым негде играть, кроме улицы, поэтому она и выглядит совершенно пустынно, ведь по ней ходит так мало людей. Все, что они могут сделать с крысой, они могут сделать и

с человеком, а с крысой они могут сделать все, что угодно. Да, Коди, говорит Суут, все так и есть, и скоро мы умрем, как крысы, потонем, уйдем, станем чем-то другим, станем проигравшими. Покинем, уйдем, да. Мир, жизнь — эти понятия больше не актуальны. Землю, ту часть, которая не вода, континент, страну, область, город, район, здание, комнату, кровать. Посуда не вымыта, ржавеет кастрюля, черствеет хлеб, тает масло. Больничная койка, болезнь. Ночь, я закидываюсь парой таблеток ксана и через час еще парой, они окажутся последними. Место — это главное, а смерть в наших глазах это безместность. Бестелесность. Это мы заперты, это мы неспособны воспользоваться своими привилегиями. Отчаяние, горе, одиночество. Бессонница создает новые пространства, временные карманы, у нее свой свет, свои звуки, какие — зависит от того, где ты живешь, как и всё зависит от того, где ты живешь. Суут бодрствует, когда другие спят. И наоборот. Суут — это отражение чего-то, образ, вывернутое наизнанку существо, внутреннее снаружи и оболочка внутри него, целый мир внутри, мир реакций, эффектов, последствий. Суут говорит, что самоубийство — не выход. Суут повторяет это, самоубийство — не выход. У Суута

есть свое место, у окна, перед и над уличными фонарями, и это ни на что не похоже, ни на какие фотографии, ни на фильмы, ни на книги и ни на какие игры, ни на белые фантастические коридоры, ни на непроглядную темноту ужастиков, ни на романтические рок-песни и гудящие басами хип-хоп-треки из ночных клубов американского юга, на самом деле это ни на что не похоже. Я даже на себя не похож. Я смотрю на себя будто со стороны, будто из будущего. Позже я думал, что должен был почувствовать, что в тот день что-то пойдет не так. Что я должен был нечто предчувствовать. Разве нет? Разве в то утро все вокруг меня не было пропитано нелепой легкостью? Не было ли чего-то красивого и манящего, да почти милосердного в утреннем небе, над фасадами домов, проплывающими мимо автобуса, над суетой на Центральном вокзале, людьми в кафе, стопками газет и шоколада, тяжестью рельсов, над пейзажем, который ненавязчиво и при этом деспотично простирался за окном поезда. Лимонад, кофе, булочка с корицей. Березы, дома, поля. Шутливая эсэмэска (кто-то с нетерпением ждал «неистового экстаза»). Птица, которая, казалось, пела только для меня. Вся эта чувственность бытия. Нежные шрамы. Оказаться перед этой лю-

бовью, да, услышать ее зов, любовное послание, почему бы и нет, которое прежде было скрыто, а теперь выступило на свет. И этот свет разливался, так призывно и мощно, по предметам и существам, по вселенной, такой древней и огромной, что я тонул в любви, только лишь угадывая контуры незначительной частички всего этого, этого неописуемого кружева вечности, этого безграничного облака неведения. Где-то там, в таких формулировках, в любовном аффекте, в самоочевидности. Где-то там я должен был подумать: что-то случится. Это причинит боль. Я сделаю это. Во мраке нашей эпохи: в постоянно расширяющейся вселенной, где расстояние, отделяющее нас от самых далеких галактик, растет с такой скоростью, что их свет никогда нас не достигает, наша задача не забывать во мраке об этом свете, который пытается нас достичь, но не способен это сделать. Это наша задача, когда тяжелые капли дождя падают на землю на рассвете и мы слышим их приглушенный стук, когда они пробивают мягкий и податливый грунт борозд, крикливая птица летит близко над землей, подражая плачу ребенка, и дождь стихает в такт с усиливающимся светом, и воздух свеж и чист, и на земле сверкают лужи, которые

вскоре исчезнут в почве, и выглядывают звери, а с ними первобытная женщина. С гордостью на лице. Вот здесь, говорит она своим кричащим детям. Кормитесь и живите, и она прижимает их к своему телу. Они не знают как, но быстро учатся. Они учатся быстро. Они находят тропы. Они познают. Они распространяются. Они смотрят друг на друга. Они говорят: Мы живем. Они умирают, и они хоронят друг друга. Города разрастаются. Они говорят: Мы живем здесь. В центре, рядом с площадями и на окраинах, рядом с пашнями, полями. Мы долго прожили рядом с полями. Это видно по нашим телам, по коже. Ночью мы сидим, и смотрим, и разговариваем обо всем, что видели. Мы видели, как приходит дождь. Мы жили со зверями. Мы видели, как они рождаются и умирают. Мы ели их, и мы их хоронили. Мы давали им имена. Мы жили с машинами. Мы смазывали их и чинили. У нас были имена. Мы выкрикивали имена. Днем и ночью. Выкрикивали имена. Прикрой меня ночью, просили мы. И мы устраивали пожары. Теперь мы сидим на балконах, смотрим на горящие холмы и поля. Мы сидим, и курим, и пьем водку, и слушаем радио, и смотрим на крикливых птиц, подражающих детскому плачу, и мы по-прежнему устраиваем

пожары. Мы пьем водку и говорим: Одну девушку на языке кочевников звали Череп. По чертам ее изможденного лица можно было угадать контур ее скелета. Череп рассказывает: Прежде я обычно переходила из города в город со своими детьми в клетках, в контейнерах. На шеях я написала их имена и место рождения. Кладбище времен Первой мировой войны: там я увидел, как имена смешиваются, увидел, что все было вперемешку. Череп была моей прабабкой, она была родом с Восточной стороны, и она рассказывала, что в ночь, когда я родился, видела темную звезду на небе. Мои родственники часто разговаривали об этом, когда я был маленьким, о том, что это могло бы значить и что прабабка на самом деле имела в виду под *звездой*. Только много лет спустя, когда я уже становился взрослым мужчиной, а прабабка умерла, когда вся Восточная сторона уже исчезла, или по крайней мере *ее* Восточная сторона, когда передвинули Внешнюю стену и Восточной стороной стал править новый Князь, только тогда мы вообще начали задаваться вопросом, что она имела в виду под словом *темная*, поскольку теперь было очевидно, что тьма Восточной стороны, прабабкина тьма, отличалась от нашей. Твое имя, Коди, сказала она, Череп, незадолго до смерти,

твое имя напоминает мне о том, как раньше я носила с собой череп, который нашла в старой часовне. Я переносила его из города в город. Люди переносили могилы и обнажали столетние скелеты. На черепе писали имена умерших и место рождения. Я имела обыкновение опускать взгляд на землю, на преграды на пути, на лужи и на выступы на асфальте, в которых я видела что-то важное. Выступы и скулы разрисовывали розами и незабудками. Гвоздиками и восковым плющом. Так говорила моя прабабка, теперь она как череп у меня в голове, череп, исписанный именами, датами, цветами. Возможно, таким образом какая-то часть Восточной стороны продолжает жить. Сейчас я невесомый и смотрю вверх. Через потолок, открытый к небу, я вижу пролетающие мимо стаи дроздов, птиц, поднимающихся в небо вечером, прежде чем темнота успеет помешать их движению. Я помню сцены самоубийств в магическом, похожем на зеркальный лабиринт, абрисе высоток. Это свело меня с ума. Что же свело меня с ума? Разнообразие вариантов? Или наоборот, это единственное, в своей монолитности? С ума меня свело, вырвало из детского понятного и простого существования, из благоразумия осознание — сначала размы-

тое, покрытое тайной и необъяснимое, позднее пережитое как откровение и превратившееся в своего рода опыт, как телесно, так и умственно приобретенное знание, что некоторые жизни не заслуживают того, чтобы быть прожитыми. Что здесь царит эта ложь. И никто ничего не может с этим поделать. Мелькают картинки. Что-то проявляется. Когда я был ребенком, на первом этаже дома напротив жил четырехлетний мальчик. Пусть будет Антонио. Наверняка его звали как-то по-другому, но все такого рода анекдотические истории заключают в себе необходимую долю невероятного, так что его реальное имя назвать невозможно. Однажды я увидел, как Антонио ест пенопласт. Он часто стоял в больших не по размеру ковбойских сапогах и писал из окна спальни. И он утверждал, что потрахивал свою младшую сестру. Если во дворе случалась заварушка, а часто это бывало в присутствии Антонио, он пытался припугнуть своих врагов, говоря им, что им нужно быть осторожными, поскольку его папа работал в тюрьме. Двумя этажами выше над Антонио жил один мой одноклассник. Дадим ему имя Улоф, но его тоже звали как-то по-другому, и это опять же не восстановить. Поскольку он был малорослым и довольно тощим, окружающие

добавляли *Малыш* перед его именем. То есть, скажем, его звали Малыш Улле. Папу Малыша Улле я никогда не видел, может, он работал с папой Антонио, не знаю, но его мама тоже была малорослой и довольно худой. Она была безработной и зависимой. На чем она сидела, я не имею понятия, так близок с ней я никогда не был. Однажды, когда я пошел вместе с Малышом Улле к нему домой поиграть в видеоигру «Понг», во всей квартире не было мебели. Мы зашли на кухню. Мерзко пахло, а в центре на полу, где раньше стоял кухонный стол, теперь высился большой черный мусорный мешок. Он был набит, это все, что я помню, но как бы я ни напрягал память, не могу вспомнить, что в нем находилось. И я не помню, узнали ли мы, что произошло с мебелью. Но думаю, туда приходил пристав, чтобы забрать предметы, которые, по мнению государства, могли бы найти лучшее применение, или его мама продала все, что можно продать, желая собрать денег на что-то более важное в тот момент. Я не знаю, мои воспоминания типа обрываются. Что-то останавливается там, на кухне, и комната сжимается вокруг нас; двое десятилетних детей перед доходящим им до подбородка черным мусорным мешком с неизвестным содержимым.

Один кадр. Мелькает на мгновение. И что? Обнажает свою суть? Чтобы больше никогда не появиться? Можно ли так поймать прошлое? Как совместить эту мимолетность с огромной тяжестью и постоянным присутствием, свойственным опыту? И что есть правда в этом мелькании? Чья правда, чья история? Я не знаю. Я только знаю, что для меня это неизбежно. И что всегда об этом есть что еще сказать. В этом всегда скрыто еще больше. И когда тихо. Так тихо. Дни идут. Нет, дни опускаются. Медленно, как слегка изогнутые лепестки. Недели, месяцы, годы. Мы становимся старше. Мы забываем друг друга, контуры лица бледнеют, и мы помним что-то совершенно другое. Все меняет облик, много раз заново. В конце концов мы не знаем, что есть правда, а что ложь, где начинается одно и заканчивается другое, или как одно связано с другим. Как разные представления о власти и свободе — представления о напряжении между возможностью и необходимостью — связаны с тем мусорным мешком, тем помещением. С мелькающей картиной ковбойских сапог Антонио и кусочков пенопласта в уголках его губ. Это больше, чем просто картины, заставляю я себя писать. Это больше, чем просто слова. Всегда есть что-то большее. За каждым

голосом — хор. Мерцание тел. Если я слушаю, то слышу. Звук разрезает стены. В окно, надежно закрытое на массивные висячие замки́, я вижу, как собирались мужчины, с десяток парней, которые сообща перетаскивали колючую проволоку, пока не вернулись полицейские. Я помню, что на рассвете и закате было красиво. Почти каждый день я фантазирую о жестоком насилии, что я убиваю сволочь голыми руками. Мужчину. Моего врага, иногда мне кажется, что он на меня похож. По тоннелям с неработающим освещением нас везут на украденном, только с завода, новом «Рено», и я думаю о синих горах с металлическим отливом над розовыми садами, о маленьких островах, залитых лучами восходящего солнца, полях под па́ром. Я вдруг вспоминаю, как из ниоткуда, огромную и непостижимую легкость. Одно я усвоил: нужно быть осторожным с тем, чтобы называть время и общество их настоящими именами. Нужно пробираться вперед как в кошмарном сне: не глядя направо или налево, сжав губы, со стеклянным взглядом. Когда ты в тюрьме, то плакать легче. Я молчу, со сжатыми губами и стеклянным взглядом. Ах, укутай меня этой ночью и окружи священными огнями. Была ли это молитва? А молящимся — Суут? Позволь

мне навсегда пасть жертвой, но только от Твоих рук. Конечно, он молился. Вечером, лежа на койке, потолок и холодный свет наискосок из окна. Сложенные на груди руки. Даже так. Отец наш на небесах. Как ребенок. Даже смешно. Miserere mei, Deus [50]. В камере. Вот так умер Суут. Да, точно, это особенно заметно в «Antiphona nach Hildegard von Bingen» [51] сказал гитарист таким торжествующим тоном, который остался мне непонятен, так как я, похоже, пропустил что-то ключевое в его аргументации, но это было как-то связано с разницей между бурдоном и остинато, и в тот же момент мы услышали сильный грохот у себя за спиной и странный звук, который трудно описать, будто металлический и резкий, но одновременно размазанный, глухой, и потом, ничего толком не осознавая, я понял, что это, и я обернулся, и в то же мгновение меня осенило, что еще я слышал звук тормозов, то есть их скрежет, или скрип шин об асфальт, или что-то похожее, и какой-то пыхтящий, шипящий звук, а увидел я автобус, стоящий наискосок дороги, и перед автобусом лежал человек и велосипед,

---

[50] Примечания: 50
Помилуй меня, Боже (*лат.*).

[51] Примечания: 51
«Песнопение в честь Хильдегарды Бингенской» (*нем.*).

будто переплетенные друг с другом, за одним из передних колес то, что я видел, полностью осознать не получалось, как будто мозг не мог сложить картинку воедино, и я слышал стон и видел, как женщина в оранжевой жилетке подбежала к телу, чтобы помочь, предположил я, я видел, как она практически на корточках подползла к передней части автобуса и наклонилась, после чего мгновенно как будто отскочила назад, словно ее оттолкнула или вытащила оттуда невидимая сила, она отвела взгляд и отвернулась от увиденного под автобусом, и руки у нее двигались, дрожали в странной и хаотичной манере перед лицом, и я увидел, что мы подошли ближе, я автоматически отставил велик, прислонил его к перилам моста и пошел к месту аварии, которое теперь привлекло к себе еще с дюжину других людей, и среди них вперед и назад ходил водитель, и я видел его лицо, бледно-серое и усталое, белую рубашку с коротким рукавом и красный галстук, и я увидел, что к жертве аварии подошли еще люди и достали телефоны, и я остановился, заметил, что гитарист и композиторша стоят рядом, до передних колес автобуса было метра четыре или пять, я не мог отвести взгляд, и вот я увидел черную куртку, черный капюшон, кровь

и что-то торчащее белого цвета, из разорванной одежды, и между частями велосипеда, и я отвел взгляд. Это он, подумал я, это он, торчок, это он, он мертв.

Восковой плющ? О его ли цветках я думал, стоя у канала с симметричным фасадом здания полиции на фоне? Не были ли это вишневые цветки? И ведь наверняка не дома, в окне, я их видел, а во дворе, в саду, у забора, разве нет? Или в парке, за мостом, под мостом, да, в воде, в холодной темной воде, колеблющейся тихо и спокойно. Нам пора, через некоторое время сказал гитарист. Не знаю, сколько пролетело времени, но этого было достаточно, чтобы мы в полной мере осознали свое бессилие, полное бессилие. Мы видели, как прибыла «Скорая» и забрала тело, кто-то еще занялся водителем, и я много раз был готов открыть рот и сказать, что я уже встречал этого парня, совсем недавно, перед тем как вы пришли, у канала, у здания полиции, но по какой-то причине я не смог, не зная, с чего начать, в каком ключе, с каким настроением, а теперь гитарист тоже молчал, а композиторша лишь несколько раз сказала *черт* и *твою мать*, и мы пошли на Центральный вокзал, купили себе билеты и поехали к путям на эскалаторе. Мы спускались, и я чувствовал,

что мне как будто нужно закричать, чтобы меня поняли, хотя гитарист и композиторша стояли ко мне вплотную, так близко, что я слышал их дыхание, хруст и шуршание их одежды. Вот такие дела, подумал я, будто против своей воли, и на самом деле не зная, что это значит, много раз. *Вот такие дела.* Это моя жизнь. Вот такая прямолинейная и понятная. Такая жестокая. Торчок мертв, я остался один. Потом я думал, все еще на эскалаторе, спускавшемся вниз, и вниз, и вниз, что это идиотизм, что мысли у меня идиотские, что я идиот. И мы сели в поезд, молча. Гитарист достал мобильный и начал водить по нему пальцем. Я взглянул на композиторшу, она закрыла глаза и типа массировала их, терла веки пальцами, а я предпочел откинуть голову назад и тоже закрыть глаза, руки у меня лежали на бедрах, и поезд скользил через пролив. Мы вышли у Северного порта и пешком пошли к собору. Гитарист что-то сказал про аварию, участником которой был и в которой все выжили, и композиторша показала шрам, который остался у нее после того как машина, в которой ее везли, врезалась в ограждение на шоссе. Мы подошли к собору, заплатили за вход и заняли крайние левые места в первом ряду, с программками в руках. Затем

вошел Кристоф Мария Моосманн. Я обернулся, взглянул наверх на орган и смог разглядеть, как Моосманн садится за клавиши. Он начал играть «Annum per annum» [52]Пярта, и все как будто замкнулось, наполнилось тяжестью и легкостью, пространство вырастало и сжималось, словно дыша, и я дышал вместе с ним, и через несколько секунд мощной пульсации первого аккорда я выдохнул, чтобы потом затаить дыхание на оставшееся время той минуты, пока звучал аккорд. И вот он стих, а я вдохнул воздух, глубоко и шумно, слишком шумно для немецкого собора, как будто я находился под водой и теперь выплыл на поверхность, наверх к кислороду, как раз когда пауза и тишина достигли кульминации, и когда зазвучали первые, тихие и легкие, игриво трепещущие ноты, я не мог снова не вспомнить Суута и ту последнюю ночь, то, что я сделал, то, кем я был, Кико и Равана, тот автобус, на том круговом перекрестке, движение по кругу и центробежную силу, с такой дьявольской мощью прижимавшую меня ко всему. Пойдем закинемся, как мы говорили, и закинулись у Кико, и потом поспешили дальше, встретились с Димой, Беки, Арго,

[52] Примечания: 52
«Год за годом» (*лат.*).

Саймой, Фернандой, не знаю, с кем еще, может, с Ханссоном, Золтаном, Вадимом и собирались к Эльзе В. достать «пороха» [53], поработать у нее немного. Мы приняли дозу прямо на месте, но нам пришлось ждать еще как минимум час, пока она нас впустит, похоже, было много приходящих и уходящих, много чего происходило. Она дала нам дури, и мы свалили, чтобы найти Словака, болгарина. За пару вечеров до этого я сидел у Арбена в убогой «Мазде-323» с наложенным запретом на вождение и ждал Ханссона, который бегал по округе, пытаясь продать пласты от Криса, и по радио звучала какая-то новая песня с новым рэпером, и Арбен сказал Кико, который сидел и кайфовал, и качал головой, что он ненавидит этих гребаных гангста-черножопых, так он сказал, весь этот фейковый стиль, сказал он, как там, «эй хей валла ялла, в тачке сидит малая», пародировал он, «стекла затонированы, поц пролетает мимо, эй, сучки важные, влажные», с дебильным выражением лица, «на шмотье три полоски, телка скачет на кривом члене, чурка шепелявит жестко, накурился так, что блею я», и мы заржали, и я сказал: ты фигачишь крутые тексты,

---

[53] Примечания: 53
Имеется в виду амфетамин.

братан, но он был серьезен и сказал: жесть как я их ненавижу, клянусь, то есть одно дело вести такую жизнь, против этого я ничего не имею, но хвастать этим, выделываться и обманывать детишек, что всё — сплошные клевые цацки, это бред, чувак, хрень полная, и Кико считал, что ему нужно успокоиться, это всего лишь музыка, сказал он, но Арбен ответил, что это больше чем музыка, это реклама стиля жизни, и все, кто имел хоть малейший опыт такой жизни, знают, что она на девяносто процентов состоит из страха, сказал он, и я напомнил ему, что он только что говорил, будто лучше вести такую жизнь, чем читать о ней рэп, но я не это имел в виду, сказал он, ты сам знаешь, что это на девяносто процентов хаос, но Кико сказал, ах, о чем ты вообще, там проценты, тут проценты, как будто работаешь в банке каком-нибудь, понятно, что бывает тяжело, но есть и спокойные моменты, признай, плевать на цацки, но Аббе настаивал, послушай, чувак, девяносто процентов паники, поверь, всю ночь, когда ты один и не можешь уснуть и твои друганы, твои хреновы братья, в любой момент могут ударить тебя в спину, за просто так, не за бабло или типа того, не за какую-то тонированную тачку, чувак, за просто так, потому что

они тоже боятся, и устали, и должны играть в эту хренову игру, сказать честно, Тони Монтана, вся фигня, этот треп, да я задолбался слушать это, кто-то вообще видел фильм целиком, они не знают, как он заканчивается, и я сказал: You think you kill me with bullets? I take your fucking bullets! [54], и Кико истерично заржал и сказал Арбену, что ему надо было пойти в политику или типа работать в организации по защите детей, ты не врубаешься, что это искусство, чувак, музыка, и ты говоришь неправду, многие не хвалят такую жизнь, читают рэп о страхе и самоубийстве, даже Бигги и компания это делали, но, короче, они ведь одновременно должны быть жесткими и настоящими, короче, им еще нужен респект улиц, и Арбен открыл окно и сплюнул. Настоящими, ta qifsha nanen [55], сказал он, вот это настоящее, и он закатал рукав и показал шрамы на предплечье, но я не хожу и не выпендриваюсь, и Кико ухмыльнулся и сказал, да-да, брат, ты крут, но ты не гангстер, ты, блин, мелкий вор, чувак, велосипедный вор, плюс ты стареешь, тебя

---

[54] Примечания: 54

Ты думаешь, что убьешь меня пулями? Я принимаю твои гребаные пули! *(англ.)* – фраза Тони Монтаны из фильма «Лицо со шрамом».

[55] Примечания: 55

Твою мать *(алб.)*.

грабят подростки, так что не принимай близко к сердцу, брат, но кто захочет читать об этом рэп, о нервах и бедности, о том, как быть сидящим на всяких веществах безработным, неудачником среди неудачников, сечешь, братишка, я о том, что глянь вот на свою машину, чувак, так себе реклама твоего образа жизни, и Аббе завелся и сказал, что мы можем выйти, если тачка такая дерьмовая, и как раз когда я подумал, что будет настоящая заваруха, пришел Ханссон и сказал, что ничего не вышло, парень не согласился на нашу цену и вдобавок за нами сейчас, вероятно, есть слежка, потому что этот чертов засранец нас не предупредил. И действительно, через три минуты нас остановили мусора. Они поставили нас в ряд там, около детского сада, прямо перед пялящимися детишками и персоналом, обыскали нас и «Мазду». Арбену пришлось оставить машину, но ни у кого из нас с собой ничего не было, так что нас сразу отпустили. Потом мы позвонили Диме, который через полчаса приехал и отвез нас домой, меня он высадил последним, и тогда выяснилось, почему у Арбена было такое плохое настроение. Его батю осудили, и ему предстояло отъехать на восемнадцать месяцев. Я подумал, что нужно его подбодрить, так что я позвонил

и сказал, друг, у меня есть литр «Бакарди», не хочешь затариться колой и завалиться ко мне, немного бухнуть, в кубинском стиле? Он заржал надо мной и сказал, кончай придуриваться. Я спросил: почему? Он ответил, что нет сил, что собирается принять немного руфа [56] и посмотреть кинцо или что-нибудь. В кубинском стиле, сказал он. Ты больной на всю голову, чувак. Через два часа позвонил Ханссон. Он продал пласты. Время зарплаты, брат. На следующий раунд ты с нами? И на самом деле мне больше не хотелось, но я вспомнил, как мы в первый раз ездили к Кризу, чтобы затариться по-серьезному, и поехали все, кроме Марко, который дал заднюю, сказал, что мы сядем, а если не сядем, то бабло у нас конфискует какой-нибудь крупный дилер. Мы сказали, чувак, пеняй на себя, нам больше достанется, и потом все прошло хорошо, вообще без проблем, и мы кое-что заработали, не так много, но все равно, короче, чуток лишнего, пока он работал на разных своих работах, в черную, в белую, легально, но все равно был беден и пытался исправить оценки и все такое, а в итоге он пошел в какой-то клуб, чтобы развеяться, но чокнутый охранник

[56] Примечания: 56
То есть рогипнола, снотворного.

начал его прессовать, пока Марко не психанул и потом получил пять или шесть месяцев за насилие в отношении лица на службе. Я навестил его на первой неделе срока, и он тогда сказал, что пожалел, что боролся, это было бессмысленно, поскольку всегда, в любом случае, делаешь неправильные шаги. Потом я вдруг оказываюсь перед Эльзой со всей кодлой за спиной. Что происходит? Она смотрит мне в глаза, а потом на лица вокруг меня. Ты с друзьями, говорит она. Новые лица. Только они халяль. Дима нервно хихикает. Я даю Эльзе деньги. У нее лицо тигрицы. Она бросает взгляд на купюры, складывает пополам и сует в карман. Я протягиваю руку. Остальные тоже хихикают. Спасибо, говорю я, слегка поспешно, до того, как она мне что-нибудь даст. Тебе спасибо, говорит она и берет меня за руку. Знай меру. Я прячу на себе пакетики и конверты, сложенные для нее маленькими детьми. Потом она достает большую упаковку и темно-синий рюкзак, протягивает мне и то и другое. Это отдадите Словаку, и он даст вам деньги. Действуйте осторожно. Сможете уйти вот этим путем чуть погодя, другие только что ушли, говорит она и показывает на заднюю дверь. Спасибо, говорю я. Да, ты уже говорил. Расслабься, все нормально. Она ухмыляется

и поворачивается. На предплечье у нее большой шрам. На майке написано DOOM [57]. Мы выходим на улицу и потом снова в клуб через вход, охраняемый совершенно гигантским дядей с прической в стиле Ивана Драго, в черном бадлоне и с толстой золотой цепью поверх него. Хочешь что-нибудь выпить? — говорит мне Бекка. Нет, все норм, отвечаю я. Потом она рассказывает о парне, который попытался сыграть в героя. Он достал немного денег, говорит она, и ему захотелось пригласить меня на ужин. Мы пошли в какое-то место, типа фалафельной, только поприличнее, с персидской едой. Мы поели какой-то изысканный рис, который он любит, потом он сказал, что будет обо мне заботиться. Он пообещал, знаешь, так торжественно. Я буду тебя защищать, сказал он. Он сказал, что с ним я всегда буду в безопасности. И мне стало противно, на самом деле. Я посмотрела на него. Потом взяла вилку и воткнула себе в руку. Получились четыре дырки, довольно глубокие. Мы просто продолжали сидеть. Текла кровь, а у него был расстроенный вид. Почти отчаявшийся. Было одиноко обоим, думаю. Он попытался доесть, а я только немного выпила

[57] Примечания: 57

«DOOM» * (* «Гибель» (*англ.*) – так называется популярная компьютерная игра.

и прижала к руке салфетку. Потом я сказала, что мне бы надо домой продезинфицировать рану. Можно я с тобой? — спросил он. И мне захотелось воткнуть вилку ему в глаз. Но я сказала только: Конечно. Мы смеемся над парнем. Я встаю. Мне надо пописать, подожди меня. Ненавижу этот ультрафиолетовый свет. Отстойно, что она приняла нас за копов. Как ей вообще такое, блин, в голову пришло, реально. Как дела, Коди? Хорошо, хорошо. У тебя кровь на костяшке. На костяшках. Течет. Бля. Я не видел. Прости. Что случилось? Ничего. Запачкал тебя? Вот бумага. Как дела? Хорошо, все нормально. Перестань все время спрашивать, меня, блин, выбешивает, что ты постоянно задаешь вопросы. Как сама? Нормально. Немного потеряна, не знаю. Прости. Как нам найти этого словака? Он не словак. Его просто зовут Словак, он типа венгр, или болгарин, или кто там еще, не знаю, в любом случае, грязный сутенер. Все здесь? Мы здесь. Достал пакетики? Да. А пластины? Да, всё, я получил всё. Чем они там занимаются? Пойдем, уходим. Мы должны попробовать. Мы идем в паб, какое-то паршивое место с дартсом, одноруким бандитом и футболом по телику и заказываем пиво и сидр, и Дима идет в туалет и пробует. Выходит, и по нему сразу видно,

что вставило его отлично. Дергает воображаемый рычаг игрового автомата, и потом моя очередь, и потом все как в тумане, ну знаешь, как это бывает. Однажды утром Суут проснулся на полу у себя в квартире в «Пруитт-Айгоу». Ранее он умудрился разбить все окна, и теперь внутрь между осколками задувал холодный ветер. Руки — в крови, костяшки порезаны, на одной виднелось что-то белое, хрящ или кость. Ему стало нехорошо, когда он это увидел. На кухне он ополоснул лицо и осторожно тыльную сторону ладоней. Потом пошел в ванную и начал собирать вещи с пола. Когда все предметы гигиены, и полотенца, и украшения были убраны, он собрал осколки зеркала и сложил их в большую стеклянную банку, которую принес с кухни. Сначала крупные осколки, потом поменьше, потом еще меньше с помощью швабры, и в самую последнюю очередь мелкие, едва заметные, кусочки и зерна старым пылесосом, украденным им пару лет назад со стройки, где он работал. Потом он взял влажную тряпку и стер почти всю кровь со стен и пола. То же он проделал в гостиной и спальне. Раны щипало и жгло. Зашла Черри. Она осмотрелась и строго на него посмотрела. Тебе, наверное, лучше это заново заклеить, сказала она, кивнув на его руки. Из его

горла вырвался звук. Он поднял с пола окурок и зажег его. Становится холодно, сказала Черри. Ты выглядишь по-другому. По-другому? Нет, не по-другому. На самом деле нет. Нет. Вещи такие же. Вещи есть вещи. Да. Будущее уже здесь, оно просто распределено неравномерно. Так кроет, брат. Понимаешь? Нет. Я не знаю. Или может быть. Я так думаю. Подожди, пойдем. Мы сваливаем. Мы валим. В машину. Вон. Вверх. Вниз. Хрен знает куда. Прочь. А почему не бывает линз для трущоб? — говорит Риис со сцены, в то время как существуют линзы для других целей, например, портретные, для ландшафтов и архитектуры. «Трущобы» с нашей особой точки зрения можно определить как тесный, темный задний двор с толпой бедных женщин и детей, собирающихся в подворотне — особенно в хорошую погоду. Из-за высоких зданий вокруг и узких проходов свет, падающий на подобную группу людей, такой слабый и блеклый, что для моментальной экспозиции требуется более чувствительная оптика. В ожидании производства подходящих для трущоб линз мы можем только порекомендовать временно использовать самые светочувствительные из выпуклых. Это область для изучения, за которую тот, кто займется проблемой, будет

хорошо вознагражден — сейчас, в преддверии сезона. Какие-то здоровые типы угрожали изнасиловать Бекку, а я не решился ничего сказать. Проснулся вечером, где-то в другом месте. День пролетел быстро, я помог Катти достать flous, как она выразилась, зажег благовония, сандаловое дерево, за дверью, гребаный хиппарь, сказал Дима, люди шли мимо по длинному балкону, который Санне называет галереей, дети играли в футбол и прыгали на скакалке, мы ели руками яичницу-болтунью с большой сковороды, облизывали пальцы друг друга, а потом ложились на диван и играли в «Playstation». Так я и заснул, снилось, что могу сам себе отсосать. На следующий день я встретился с Кико в центре, у него с собой был гашиш «ice-o-lator» [58], и мы чуть-чуть покурили, довольно глупо. Меня так вынесло, что я обосрался. Буквально. Я сидел под столом в кафе и наделал себе в штаны. Пришлось от штанов избавиться. Одолжил у кого-то трусы. Из заведения нас поперли какие-то милые и пушистые леваки. Потом мы ходили-бродили и мерзли до костей. Мы встретили Ханссона и Ади, которые угостили нас водкой, и благодаря им мы попали

[58] Примечания: 58
«Льдогенератор» (*англ.*).

на вечеринку, где какой-то закинувшийся кислотой качок с кучей прыщей повсюду шатался в облегающей майке и нес херню. Обдолбанными были все, но он сильнее остальных. Шизоидные разговоры об архитектуре муравейников, и разумных насекомых, и банкирах-иллюминатах, на последней теме Ади сломался, и для меня это тоже был перебор. У меня началась паника от этого чувака, и я сказал об этом Санне, и она сказала, я тоже, так что мы решили свалить оттуда поскорее, хотя там были телки и Суеди хотел трахнуть одну из них. Но сначала я спер для себя треники. Катти прихватила пару CD-дисков, бутылку джина и целую коробку мороженого-лодочек. Я подумал, что с меня хватит, и хотел свалить домой прямо сейчас, но вместо этого мы еще побродили и еще немного померзли. Мороженое не способствовало улучшению ситуации. Остатки мы отдали пахнувшему мочой бездомному, и он скорчил странную рожу. Потом мы сели в автобус. Все начали обсуждать футбол. Кико злобно посмотрел на каких-то парней, но ничего не произошло. Я запараноил. Ади заладил о каком-то фильме с некими ящеро-козами или козо-ящерицами и агентами с телепатическими лучами и рентгеновским взглядом, медузой и

ее змеиной компанией. Казалось, что на меня кто-то смотрит. Я сидел в поезде и не мог пошевелиться. Я мерз, и рот у меня был набит каким-то странно разбухающим сахаром. Меня тошнило, и Бекка сказала: Как я все это, блин, выдерживаю, честно? И я усмехнулся, но Ади рассмеялся до слез и как маленький запел о баранах, которым все по барабану. Но потом он опять понес свое иллюминатское дерьмо, о том, что вот это и вот это владеет этим и этим, и я сказал ему, ты че? нацист, чувак, посмотри на свои штаны, а автобус все время поворачивал, по кругу, по кругу, как на долбаной карусели, и останавливался, и ускорялся, останавливался и ускорялся, и мне вдруг стало лучше, и я ржал над порванными спортивками Адиса, а Бекка разошлась и сказала, посмотри на свою куртку, эти три полоски, чувак, что это за форма такая, я не врубаюсь, чел, неважно, где ты, в какой стране, от бедных до богатых, у всех эти три полоски на штанах, на кофтах, на куртках, на ботинках, если у них не «Найки», как говорится, а ты не знал, что они были нацистами, эти парни из «Адидаса», клянусь, имя чувака, который все это затеял, Адольф, называли его Ади, прямо как тебя, чувак, как будто Адольф и Аднан это в некотором роде одно и то же, понимаешь, о чем я, по

какой-то причине это стало долбаной гангстерской униформой во всем, мать его, мире, люди, которые живут на ледяной свалке где-то далеко в Сибири и ходят в потных майках, с поясными сумками, набитые таким, что у нас лежит в мусорке, — и слушай, они ходят типа в резиновых тапках, хотя на улице минус, как тот парень, ну знаешь, Иббе, в своих долбаных резиновых шлепках, всегда — у них все равно есть свой паленый «Адидас», сделанный типа из расплавленного пластика с помойки на какой-нибудь ядовитой китайской фабрике, где у всех рак из-за ядовитых паров в воздухе, и в еде, и в воде, и сиги, сделанные типа из корней табака или типа того, и в итоге яд оказывается и в штанах, ясное дело, в штанах, которые они рассылают своей армии босяков, нищих гангстеров, бичей, думающих, что станут королями только из-за трех полосок у себя на одежде, послушай, друг, ты рекламируешь компанию, основанную нацистом, говорю тебе, браток, все просто, только потому что один чел в 80-х шатался и читал рэп в штанах «Адидас», у вас у всех должны быть такие же, но серьезно, тогда у тебя должны быть такие же большие часы на шее, как у того из «Public Enemy», почему у тебя их нет, сказала она, и Ади издал странные звуки

языком и сказал, только заткнись, вали отсюда, и я сказал, у тебя нет аргументов получше, ты ведь должен опровергнуть ее чушь, ты воин или бич? — но он сказал только: заткнись долбаный мудак, и все надолго замолчали, и я ощущал такую усталость, что мог заснуть в любой момент, совершенно обдолбанный, и вдруг Ади повернулся к нам, он лыбился во весь рот и сказал: хватит стебаться, слушайте, и он рассказал о своей азбуке, он назвал ее «The ABC of Storytelling» [59], которую все считали жутко скучной, она была о букве A, которая «рассказывает историю, в которой B разглагольствует о C, которая рассказывает о том, как D описывала, как E трепалась об отчете F о том, как G болтала о том, как H пересказала то, как I восхваляла критику J того, как K сообщила, что L дала понять, что M намекнула о привычке N заявлять, что O иногда шепелявит о том, что P говорила о том, как Q бормочет что-то о констатации R того, что S сказала, что T однажды подтвердила, что U указала на то, что V отметила, как W сплетничает о том, как кричала X, что Y считала, что Z нужно перестать врать о том, что Å всегда жалуется на тенденцию Ä вопрошать о

[59] Примечания: 59
«Азбука рассказывания историй» (*англ.*).

том, что это за такие истории, которые Ö приказывает рассказывать А», и по задумке ее должен был проиллюстрировать Суут, но он не знал, *как* такое иллюстрируют, ведь *ничего не происходит*, одна болтовня, никаких сцен, поэтому он набросал пару гротескных лиц с большими разинутыми ртами внутри ртов, челюстями внутри челюстей, говорил он, с языками, зубами, нёбом, гортанью или как там ее, с черными дырами, которые рассказывают, и спрашивают, и жалуются, и декларируют, и намекают, и констатируют, и так далее, снова и снова, опять по кругу, как чертовы зацикленные, говорил Суут, как такая лестница, ну знаешь, которая идет вверх и вверх по бесконечной спирали, и когда Суут показал эти рисунки, эти наброски Ханссону, тот сказал, круто, у тебя талант, но слушай, нужно что-то попроще, чтобы мужик с улицы мог это оценить, понимаешь, что-то более прямолинейное, ясное, и Суут забрал блокнот, сделал вид, что плюет на пол, и сказал, кончай выеживаться брат, это я, мужик с улицы, гребаный ты осел, и Ханссон сделал большие глаза и сказал, о'кей, чувак, успокойся, тогда можешь нарисовать так, чтобы осел с улицы оценил, и Суут покачал головой, и теперь все косо смотрели на Ади, и кто-то крикнул, хайде

ялла, нам надо выходить, и потом мы выскочили и вскоре поцапались с каким-то нищебродом у банкомата, и кто-то немного вспылил, и я закричал «да кто ты твою мать такой, я поимею всю твою семью, сопляк» каким-то мерзким итальянским сквоттерам, которые не мылись месяцами, они спят с собаками, сказал я Бекке, серьезно, вшивые мрази, настоящие нищие, дно, а потом я признался ей, что о'кей, я тоже несколько недель не мылся, и заржал, у меня вся головка в белых творожных хлопьях, я знаю, и она сказала, зачем ты мне это говоришь, ты мудак, засунь себе тампон в рот! Твою мать, не разговаривай, как шлюха, сказал Ади. Эй ты, смотри у меня, сказала Сайма, не болтай, как коп. Все заржали, сейчас я был почти без сил, изможден, но тротуар был похож на беговую дорожку, остановиться было невозможно. Мы проходили мимо «Лемитца» [60], зашли внутрь, выпили пару шотов текилы, на барной стойке стоял педик в кожаных штанах и играл на воздушной гитаре под «Judas Priest», а Ади прыгал вверх и вниз как настоящий дебил

[60] Примечания: 60
«Лемитц» — бар, существовавший в 1960-х годах в Гамбурге.

и орал thug life, thug life [61], и Бекка рассказала шутку про то, что копа спрашивают, говорит ли он или она, то есть они, ну понимаешь, по-французски, и если повезет и они ответят да, то их спрашивают, как будет по-французски девять, и они говорят neuf, и ты такой: что? И вот они снова говорят neuf, и если это все снимали на видео, то просто склеивали вместе и получался классный клип с копом-свиньей, и она рассмеялась, но потом сделала серьезное лицо и сказала, давайте подожжем ментовку, но никто не услышал, потому что все постоянно разговаривали, я зажмурился и надавил на глаза, и у меня получилась типа лавовая лампа внутри, я огляделся в поисках Кико, но не увидел его. Кико! Где ты? Кико! Вокруг медленно плавала красная, и зеленая, и белая субстанция, меня подташнивало, и я пытался не замечать, что хочу блевануть, все кричали, и Бекка снова сказала, бля, нам нужно поджечь мусарню, но никто не слышал, и потом в третий раз: надо отыметь мусоров, и давайте уже соберемся и спалим на хрен весь гребаный свинарник, но ее никто не слушал, и тут я увидел, что Санне с Ади стояли и болтали с болгарином,

[61] Примечания: 61

Бандитская жизнь, бандитская жизнь (*англ.*). Так — «Thug Life» — называлась группа, созданная Тупаком Шакуром в 1994 г.

который, как я знал, торговал герычем, и тогда я понял, что о сегодня, о вчера, о сегодняшней ночи можно забыть и что я скоро сломаюсь, я немного подустал, сказал я Бекке, дал ей понять, что собираюсь уходить и не хочет ли она пойти вместе? У Рииса были замечательные снимки моргов, интерьеров лазаретов, детских домов, изоляторов, тюрем, психушек и кладбищ. Он показал снимок с тремя слепыми нищими и рассказал, что умудрился поджечь их дом, неправильно направив или неправильно рассчитав дозировку порошка для вспышки, прямо в момент фотографирования (*смех в зале*). Мы стрельнули сиги у людей на Центральном вокзале, и потом Суут показал мне отверстие за лестницей, которую я никогда не видел, мы туда залезли, там на куске картона сидели маленькие дети, они нас испугались, но Суут успокоил их движением руки и парой слов, которые я не понял, мы сели под окном и скрутили косяк, Суут рисовал на стене, я смотрел, и потом мы отдали недокуренное детям и свалили, мимо горы мусорных мешков и вниз, в некий подвал, где лампочки все не заканчивались, а стены были красными, а потом зелеными, а потом переливались то одним, то другим цветом. Пока мы там шли, Суут сказал, что я обещал, что мы как-ни-

будь съездим на море. Но как нам туда добраться? Риис говорил: Я хотел собственными глазами, не судя по высказываниям людей, которые ничего не видели, или людей, которые видели лишь часть, убедиться в том, что есть правда. Затем я придумал некую простую шкалу измерения, согласно которой оценивал жизнь на дне. Все, что способствовало поддержанию жизни и телесного и душевного здоровья, было добром, а все, что ранило, подавляло и сдерживало жизнь, — это зло. В одной из комнат сидела Бекка, она до этого отработала двойную смену и потом целый день спала, теперь ей хотелось оторваться, и она нас подначивала, нам нужно что-то придумать, я два дня свободна, потом буду работать целую неделю, по фигу что, но мы должны замутить что-то прикольное. Не знаю, сонно сказал я. Поедем на автобусе, предложила Бекка, или возьмем машину у какого-нибудь серьезного типа и свалим на побережье, накуримся и будем отдыхать на песке, купаться голышом в море, что может быть лучше, чем прыгать со скал и все такое, ты возьмешь с собой скрипку и будешь нам играть, пока мы отдыхаем, лежа в тени. Будет вообще супер. Это не скрипка, я тебе сто раз говорил. Это долбаная виолончель, и я ее никуда не возьму.

Помнишь, когда мы жили у известкового карьера? То лето, когда мы мечтали о *справедливости для всех*, когда сидели и курили на краю скалы, подростки, estupidos [62], настоящие обдолбыши, а Ponyboy до этого, до своего пятнадцатилетия, выбил четыре зуба, а Жанна сделала два аборта за год, в нашем районе это был рекорд, это был год, когда ей исполнялось шестнадцать, Иббе начал барыжить, Золтан со всем завязал и стал ботаном, но продолжал с нами тусить, Ларссон добыл наш первый пистолет, и так далее, и так далее, казалось, что в тот год произошло все, мир как будто принадлежал нам, солнце висело над водой, как гребаный апельсин, и по вечерам светило на наши худосочные бедуинские тела, на скалы, это тем летом мы познакомились с малазийским кодексом чести (ты получаешь три предупреждения, потом у меня есть право тебя убить, но только голыми руками) и влюбились в польских девушек скинхедок, которые носили солнечные кресты, делали татуировки кельтских крестов на щеках, на лбу, на спине, на груди, и мы сказали им, что вы не можете быть тут нациками, долбаные идиотки, мы тут чурки, и мы рисовали

[62] Примечания: 62
Безмозглые, глупые (*исп.*).

молнии и черепа и цвета у себя на теле, потому что мечтали о справедливости для *всех*, так мы говорили, и это, без сомнения, относилось и к солнечным крестам на лице, и к слезам в уголках глаз, по слезинке за каждый год на нарах, как говорится, по бедуинской слезинке за каждый год, за каждого друга, ушедшего в мир иной, за все глубокие шрамы и невидимые раны, которых все больше с каждым днем, за все недели, месяцы, за уходящие годы, сам знаешь, брат, как обстоят дела, и не знает никто, кто так орет, и не понимает никто, что толкает вперед, так что закрой глаза, забудь, закрой окно, забудь, закрой дверь, забудь обо всем, ляг и отключись, как говорится, пусть все растворится, погрузись в свой сон, скоро тебя заберут, и всё, ялла бай, твое время вышло, выбрали тебя, ты лежишь на носилках, и друзья плачут, новые раны, новые шрамы, и сам знаешь, брат, вот так бывает, как говорится, как настоящие воины, как говорится, и Бекка посмотрела на меня, а я посмотрел на нее, и я сказал, конечно, я это помню, конечно, помню, что они говорили, о свободе и справедливости, но это все сплошное ребячество, только много лет спустя понимаешь, как сильно ранен, каким стал конченым, и хочешь сказать об этом детям, предупредить их как

старший брат, хочешь рассказать им, что жизнь бывает лучше, можно по-разному ее прожить, нужно не бояться, не защищаться все время, но молчишь, ничего им не говоришь, поскольку знаешь, что они тебя не поймут, без шансов, а если и поняли бы, то не смогли бы примерить на себя, это невозможно, они не слышат, так же как и ты сам когда-то не слышал. Только спустя много лет мы понимаем, что слово «свободный» существует, нет, существует такое слово, но оно ничего не значит, в нем нет никакого смысла, то есть оно не обозначает что-то в реальности, точно как слово «единорог», как слово «Бог», не знаю, возможно, оно передает то, чего нет у меня перед глазами, передает звуки в наушниках, которые скрывают от меня часть мира, и стоит мне закрыть глаза, как он исчезает целиком, и теперь я могу думать, теперь я больше не посасываю зубы, как Суут, и язык лежит неподвижно, больше не распухает и не кровоточит, я закрываю глаза и слушаю, я Коди, но не знаю об этом, или я об этом знаю, но не воображаю себя им, я воображаю, как буду жить, вырасту и стану взрослым, я прячусь в углу на продленке и слушаю секретную музыку, моя тайная жизнь, моя настоящая жизнь, я воображаю, что это я ее играю, что я уже взрос-

лый и говорю, легко и раскрепощенно, в шутку и всерьез, я вижу, как я тычу пальцем в ноты и что-то обсуждаю, глиссандо или вибрато, и вижу мои руки, мои локти, мои запястья и пальцы, такие невесомые и ловкие, уверенные и надежные, я спокоен, бесстрашен, я что-то объясняю, показываю на виолончель, расслабленно держа смычок, но уголком глаза вижу, как вперед выходит безумие, и безумие вопрошает, и безумие давит и настаивает, безумие угрожает мне, когда я не отвечаю, спрашивает, чем я занимаюсь, смеется над звуками в наушниках, я смеюсь в ответ, встаю, надо позвать остальных и рассказать, говорит оно, у меня перед глазами темнеет, и я роняю его на колени, теперь я смеюсь над ним, потому что вижу, как оно удивлено, оно думало, что я сдам назад, и безумие обмякает в одном теле, поднимается в облике другого, я несколько раз пинаю его по икрам и упираюсь лбом ему в переносицу, типа отпихиваю его головой мелкими толчками. Пульсирующий ритм, повторяющийся узор, регулярное переключение между более сильными и слабыми отрезками в закольцованной последовательности разных звуков. Сюиты Баха для виолончели, где ты, твою мать, это откопал, придурок, вали отсюда, наскок

и удар головой, и вот в помещении никого, кроме меня, и язык все так же лежит неподвижно и не набухает, но теперь я знаю, что я — Коди, а это лишь шлак и психомоторное торможение, яд, который его высочество безумие сливает из себя, это популярная мечта о существах, умеющих менять форму, менять облик, становиться кем-то другим, как будто можно подойти к ребенку, крепко взять его за подбородок и сказать, что в будущем киотские клоуны [63] будут смеяться над романтическими описаниями реликтовых лесов, разбрасывать вокруг себя отрубленные лица и ставить модернистский балет внутри лобных долей, а там отростки лобной кости зацветут, как инфекция, так, чтобы львица смогла согреть яйцо, высиживая латентные психозы, пока они не сольются с диссоциативным, то есть с наркотиками, которые, в свою очередь, должны резко окунуться в дофамин, в высвобождающие бассейны, которые отражают психоактивные разветвления всего мира. Какое гребаное дерево-монстр, говорит Коди, roots vibe диско, и все такое, и так далее, пусто в кармане и на счету,

[63] Примечания: 63

Отсылка к Киотскому протоколу о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу для сдерживания глобального потепления, подписанному в 1997 г.

только два-три глотка водки в бутылке из-под колы, последний транк, братан уже в отключке, только последний спидбол, пожалуйста, множество униполярных психических нарушений, говорили они, но мы не спешили, братишка, одна только старая открытка с оборванными углами, свернутый чек, пустой конверт в кармане, как напоминание о лучших временах. Да. Безнадежно, не так ли? — говорят врачи, когда мы не слышим. Но мы знаем, мы не дураки, сказал Марко, когда я навестил его в первую неделю, то, что у тебя грязная одежда и долги у пристава, не значит, что ты идиот, как я сказал тюремщику, перед тем как он захлопнул дверь камеры, улыбаясь, как сукин сын, как вертухай. Клянусь, мы читали все эти книги, продолжал Марко, со странным взглядом, что, черт возьми, нам еще было делать все годы в заключении, и поверь, чувак, мы знаем все о разных растениях, и плодах, и времени сбора урожая, и об ангедонии, и разных рецепторах, и о таком, как модель стресс-уязвимости, ты сам-то читал Библию, сукин ты сын, я тебе говорил, откровения здесь приходят как по заказу, одно за другим, как на ленте с петардами, как на жемчужном ожерелье, я вам говорил, вам нельзя было давать мне компьютер, ручку и бумагу,

потому что, стоит мне подключить мой мозг к интернету, как меня накрывает, ну, понимаешь, потоком льются выводы, аналитика и озарения, пока не начинаешь плавать в дерьме, что называется. Ты знал, что можно получить копию своей медицинской карточки? — спросил Марко. Интересное чтиво. Аффективные расстройства делают невозможным или по меньшей мере затрудняют ежедневное функционирование. На протяжении многих лет последствия проявлялись по-разному, но среди повторяющихся симптомов можно назвать такие: чувства одиночества, изоляции и ненужности, проблемы со сном, интернализация социального опыта. Зависимость, конечно. Такое захватывающее чтиво, что даже вдохновляет вести собственные заметки. Нужно не забыть спросить психолога, можно ли считать этот алкоголизм, с короткими периодами других зависимостей (например, от марихуаны, амфетамина, кетамина, МДМА, бензодиазепинов, кокаина (в твоем сне, чувак), следствием или по меньшей мере связанным с развившейся (могу я тут сказать *расцветшей*) социофобией? Другие виды компульсивного поведения. Чьи мысли у тебя в голове? Ты взрослый человек, но считаешь себя травмированным ребенком. Ты считаешь

себя жертвой, и поэтому видишь свое право на огульную и, честно говоря, довольно нечетко определяемую ненависть неотъемлемым. Ты живешь в тени неудач родителей, их потерь, их слепой борьбы. Тебе нужно заботиться о своих маленьких детях, а ты начинаешь плакать, как только задумываешься о собственном детстве. Ты хочешь убить того, кого видишь в зеркале, но не решаешься, так что меняешь зеркало на окно. Кто там находится? Твое представление о себе приводит к критическому состоянию, главные составляющие которого – это парализующий фатализм в комбинации с затмевающим всё дефетизмом. Черт, брат, сказал Марко, все эти слова. Знаешь, каково это иметь их у себя во рту? Как сказал Тупак, хочешь быть гангстером? О'кей, но тогда хватит ссать, делай настоящую революцию. Но ты знаешь, как обстоят дела. Только Бог мне судья. Фатализм, дефетизм? Погугли, чувак, сказал Марко. В философии это называют ресентиментом, сказал мне Хаким, а Хаким прочитал больше всех во всем учреждении, об этом писал один немецкий чел. Тебе нужно почитать побольше философии и Маркса, и современной политической теории, сказал он, почти все есть в книгах. В Коране, даже в Библии, поверь мне. Конечно,

Тупак – это начало, хорошо, что ты читаешь его стихи и смотришь интервью, хорошо, этот парень во многом был прав и был очень крут для своего возраста, учитывая еще, что он в первую очередь был артистом, но понимаешь, нужно осознавать свою ограниченность и расти, повышать свой уровень, двигаться above and beyond [64], понимаешь, брат? А как же, брат, конечно, понимаю, ответил Марко Хакиму. Все это Марко рассказал мне, когда я приехал его навестить. И все было точно так, как любил говорить Суут. Я знаю все о том, как они приходят и снимают нас, и говорят о нас на своих семинарах и конференциях. Вот так живет другой мир, героиновый шик, малоимущие, thug life и подай монетку, дядя. Я говорю им: Вы, ловкие сотрудники лаборатории, для вас нуждающиеся человеческие существа всего лишь насекомые, которых насаживают на иглу, чтобы в тишине и покое изучать их и определять их род, вы первопроходцы трущоб местного значения, вы первооткрыватели ливнестоков, в поисках очередного эстетического чуда, очередной поражающей воображение и щекочущей нервы горгульи, очередной личинки, которая в ожида-

[64] Примечания: 64
Выше и дальше (*англ.*).

нии метаморфозы ползает в нечистотах и марает сама себя чем-то склизким, что бы это ни было, вытекающим из отверстий в теле, и так далее, и так далее. Я знаю, говорил Суут, знаю точно, такие у них художники, всегда говорил Суут, я многих таких встречал, чтобы понимать, говорил он, они живут за чужой счет, они отыскивают нас, нищих уродов, и аутсайдеров, и ярких фриков, больных на голову калек, и всю эту неопределенную, пеструю, разрозненную массу, которой они дают кусок хлеба или горсть монет и ставят перед своим объективом, говорил Суут, своим мольбертом, печатной машинкой, микрофоном, они преследуют бездомных, нищих, пьяниц, наркоманов, преступников, они могут не моргнув глазом освежевать живое существо, потому что их натюрморту не обойтись без нотки кармина, они без труда попросят самоубийцу броситься под поезд на пятьдесят метров дальше, так чтобы в кадр попал парк аттракционов на заднем плане, поверь мне, вот какие они, я сам много раз это видел, поверь мне, брат, я видел, как они дергают за рукав, и умоляют, и просят услышать, увидеть и прочувствовать самую свежую актуальную историю, путаный рассказ, личное, интимное, честное и искреннее, но переданное просто и по-

нятно, описание страданий, а в ответ рассказчику разрешают прикоснуться к их мягким тканям, немного понюхать мимозу, и гиацинты, и ландыши, стоящие у них в редакционных помещениях, которые были вымыты усталыми молчаливыми уборщиками, нашими матерями и отцами, разок хлопнуть по плечу и обнять, под нежность и любовь замаскирована жалость к себе, поверь, сказал Суут, посасывая зубы, и сплюнул, я знаю об этом немало, да, я многое знаю о менее приятной стороне внимательного и участливого аппарата воспроизведения, и Бекка сказала: Я верю тебе, брат, я тоже кое-что знаю обо всех этих так называемых помехах, но стоит мне что-то сказать об этом, так, как я умею, и еще, может, что-то о своих мыслях по поводу причин того, что все так, как есть, они смотрят на меня с таким же выражением, с каким я воображаю себе того, кто смотрит на Оливера Твиста, который просит еще еды. Но все нормально, мы ведь знаем, как добывать пропитание, правда, чувак, и поэтому мы над ними смеемся, смотрим на них и говорим: Нам вас немного жаль, ведь мы понимаем, что лучше приспособлены к будущему, чем вы когда-либо могли быть, с вашими ровными спинами и широкими улыбками, то есть лучше приспособлены

по крайней мере к *одному* будущему, одному возможному, потенциальному будущему, когда бóльшая часть того, что нас окружает, разрушена и разорвана пополам совершенно определенным образом, снесена до основания, ко времени, когда останется только борьба, слепая яростная борьба за выживание. Вот там, с оружием в руках, голодные, грязные, мучимые опухшими и покрытыми ранами ногами и воспоминаниями о мертвых и разорванных товарищах или просто ожиданием смерти и разгрома своей или вражеской стороны, там, в том месте, мы справимся лучше, вот что мы говорим, там, наконец, станет понятно, каким нелепым вплоть до этого момента был ваш мир, какой странной была ваша жизнь, ваш разум и даже ваши тела, станет видна абсурдность того, что всей этой расслабленности ничего не угрожало, станет совершенно очевидна нелепость этих избалованных и самоуверенных существ, этих людей, то есть вас, кто не бросает нервных взглядов через плечо, кто не смотрит по сторонам, выходя на улицу, что это вообще такое, люди, которые выходят из калитки, автобуса, джипа и *не* смотрят направо, налево, на другую сторону улицы, чтобы оценить риски, что это за самодовольное, извращенное существо, которое

не оглядывается по сторонам, когда ступает на незнакомую территорию? Суут взглянул на нее и как будто кивнул и покачал головой одновременно. Как далеко можно быть от своей истинной сущности? — продолжала Бекка, чувствовать себя безопасно в этом мире, не знаю, могу ли помыслить что-то более ненормальное, что-то более невежественное, что-то более идиотское, и из-за этого я испытываю презрение, это относится даже к моим сестрам, моим братьям, моему народу, моей команде, умным, чутким, короче, тем, кто понял самое важное, но они все равно наивны и имеют совершенно абсурдное представление, что их действия и мысли играют хоть какую-то роль в общей картине, что они выполняют какую-то функцию в общем ходе событий. Это чувство безопасности не что иное, как легкомыслие, практически глупость, это то же самое чувство, которое переполняет Альму, мою двухлетнюю племянницу, когда она хочет прыгнуть в глубокий бассейн, хотя не умеет плавать. Они выходят на улицу, не оглядываясь, заходят в незнакомые помещения, не оценивая обстановку, не определяя опасности, угрозы — для них нет никакой опасности, ничто им не угрожает. Им комфортно в своем теле, в своих домах, в своих кварталах,

городах и странах, в своей жизни. Черт, мир принадлежит им. Чувствовать себя в мире как дома, есть вообще что-то более извращенное, возможно ли вообще быть еще более оторванными от реальности? — спросила Бекка у Суута, который на этот раз только качал головой и смотрел вниз, под ноги, пока мы шли дальше под красно-зелеными огнями, отражавшимися в старом кафеле, кажется, было так, Суут провел зажигалкой по стене, производя такой скребущий звук, прерываемый ритмичными щелк, щелк, щелк на стыках, некоторое время место выглядело как какой-то подземный перекресток без автомобилей и пересекающихся дорог, и я слышал, как дышит Суут, как шуршит его куртка, и я видел, как Бекка положила что-то в рот, таблетку или жвачку, и у меня во рту пересохло, но язык не двигался, он не был набухшим и лежал неподвижно под нёбом, и я промолчал, но подумал: черт, теперь все это и у меня во рту, чувак, течет как гребаная река, и сейчас, когда я не говорю ни слова. В зале стоит гробовая тишина, когда Риис включает проектор. Марей и Мейбридж, говорил он, запечатлевали птиц в полете и галопирующих лошадей, используя короткое экспонирование для серийных снимков, а Л. А. Хаффманн ехал следом за своими

персонажами в штате Монтана и снимал прямо с лошади. Но светочувствительность и светосила фотопластинок доступной в то время оптики еще не позволяла делать быстрые кадры тайком или незаметно снимать на тусклых лестницах полуразрушенных домов и в темных подворотнях. Бекка открыла люк в потолке, и мы вылезли на тротуар, стоял темный холодный вечер, к нам подошел пожилой нищий, и мы все покачали головами, а Суут сказал: Мне монеты нужны не меньше, чем тебе, друг мой, можешь стрельнуть сигу, но больше ничем не помогу, а Бекка сказала: Блин, ботинки у мужика дороже моих, и было ощущение, что кто-то просверливает дырочку прямо у меня за переносицей, между глазами, к самому мозгу, в лобные доли. Суут с Беккой сказали, что пойдут к ней и, короче, отдохнут и все такое, так что я вдруг остался стоять один под ярким желтым светом и видел свое отражение в стеклянной стене остановки. Где все животные? — подумал я и увидел в отражении, как Коди, полупрозрачный, обводит взглядом пустую площадь. Дома были покрыты большими темными пятнами, которые соединялись похожими на трещины линиями, образовывавшими хаотичную неровную сеть над улицами. Отсутствуют,

сказал Коди, как будто кто-то мог его слышать. Животные в поле зрения отсутствуют. Он поднял лежавшую на тротуаре полутораметровую трубу и вошел в один из домов. Пустой, безлюдный, огромный холл. Он бесцельно бродил в поисках лестницы, которую так и не нашел. Зато работал лифт. После недолгих колебаний он зашел в него и нажал на самую верхнюю кнопку четырнадцатого этажа. Двери закрылись, и лифт начал подниматься. Коди разглядывал в зеркале свое лицо, он чувствовал себя грязным и знал, что плохо пахнет. Он слушал свое дыхание и отдаленный шум моторов и медленно катал по левой ладони металлическую трубу, ощупывая неровности на ее конце. Интересно, откуда она. Когда-то она была частью стула и на нем сидел человек. Когда-то они здесь жили. Когда-то они на велосипедах ездили на известковый карьер и купались в прозрачной воде. Когда-то всё было открыто, неопределенно, возможно. Там была кровать со свежевыстиранной простыней. Аромат, который сейчас уже и не вспомнить. Все в этом безжизненном лице, которое он видел в зеркале, говорило ему, что он должен прыгнуть. Коди проехал шестой и седьмой этажи, когда лифт замедлился. Он проехал еще вось-

мой этаж, прежде чем, резко притормозив, лифт остановился на девятом. Двери открылись. Коди испугался, увидев в сумрачном коридоре пять или шесть человек. Но он не стал делать никаких резких движений, а только чуть шагнул назад и сильнее сжал трубу. В то же время люди вообще не обратили на Коди внимание. Там были как мужчины, так и женщины, со светлой кожей, со светлыми или пепельными волосами, красиво одетые. У всех были серьезные шрамы на лицах. Шрамы, идущие от уха до уха, как будто уголки губ продолжались дальше по щекам, к мочкам ушей. У некоторых, как увидел Коди, когда они вошли в лифт и повернулись к нему спиной, шрамы тянулись дальше за ушами и вниз по шее к позвоночнику, где две линии встречались и, по-видимому, спускались дальше по спине. Коди не мог не представить, как эти линии выглядели, когда были разрезами на коже, свежими ранами, перед глазами у него возникали образы рыбоподобных существ. Рыбоподобные существа, падающие вверх — поднимающиеся на поверхность, как кровавые пузыри жизни. Потом все закончилось. Его выгнали. Не имея возможности больше платить за койку или матрас в более приличных пансионатах, он заселился в ночлежку

при полицейском участке у Черч-стрит. Однажды ночью, пока он спал, у него украли золотой медальон, который он всегда носил на золотой цепи на шее. Заявление дежурному офицеру о краже и еще одно — о легальном владении прочими предметами — привели к тому, что его выкинули на улицу. Альберта, бездомная собака, прибившаяся к нему и ожидавшая его на улице перед ночлежкой, в знак солидарности впилась зубами в ногу полицейского, который его выставил, после чего полицейский схватил собаку за заднюю лапу и размозжил ей череп о каменные ступени. Славянская кровь Коди закипела, и, ослепленный яростью, он пошел в атаку на пост охраны с камнями и разной босяцкой амуницией. Он был быстро нейтрализован охраной, конвоирован до парома и отправлен на другой берег реки. Под заброшенными путями железной дороги пробивалась растительность, заполняя собой все пространство. Он видел, как за мокрыми березами и кустами рябины поднимается солнце, а с ржавого и ветхого виадука, чьи столбы были щедро зарисованы граффити в диком стиле, он видел, как пути образовывали красивые и сложные узоры. Это голос Мэри Энн Хоббс? — спросил он Сайму, и она кивнула, и они разговаривали

о звуке радиопрограммы «The Breezeblock» [65] и подкаста «Anti-Gravity Bunny Radio» [66], как будто это была их вселенная, как будто они не были там взломщиками или ворами, а ночью, пока все спали, он запихивал носок между струнами и грифом, упражняясь в гаммах и арпеджио. Вместе они могли сказать «любовь» на восьми языках. Потом стеклянная стена остановки опустела, и я пошел дальше в одиночестве. Вскоре я наткнулся на некоего Дарко в компании слепого осла, которого он окрестил Юлом Бриннером [67], и оказалось, что Дарко живет у площади Далапплан, и поскольку я жил недалеко от этого места — на самом деле, что называется, рукой подать, от клиники, где мы все несколько лет спустя воссоединимся в видении, как тени, во сне наяву, в откровении, с размышлениями о наших психологических паттернах поведения, наших реакциях, наших потребностях, желаниях, нашей склонности к насилию, и так далее, и не совсем рукой

---

[65] Примечания: 65
«Шлакобетонный блок» (*англ.*)

[66] Примечания: 66
«Антигравитационное радио кролика Банни» (*англ.*)

[67] Примечания: 67
Юл Бриннер (Юлий Борисович Бринер) (1920–1985) — американский актер, лауреат премии «Оскар».

подать от центра «Мобилия», где пару лет назад мы тусили в банде, так это называлось, воровали и занимались вандализмом как на частной, так и общественной собственности, или покупали у поляков на парковке водку и сиги, то сказал Дарко, что знаю, как туда попасть, я тебе помогу, можем пойти вместе, я только допью, и потом слегка навеселе мы пошли по городу с Юлом Бриннером и «Силверпиленом», моим клевым горным байком, который я за пятихатку купил у Максамеда рядом со школой Круксбек, и который всего через пару недель снова украли, тем временем улица Бергсгатан была пустынна, как всегда в такой час ночью, я шел вместе с Дарко, я вел велосипед, а он вел осла, вокруг было пусто и одиноко, там не было ни хрена, с тех пор как закрылась «Черная кошка», и Дарко рассказал, что он из Баня-Луки, паршивого городка, сказал он, и я сказал, значит, из такого же, как этот, и мы выкурили косяк у памятника, наплевав на пролетарскую доблесть [68], и он рассказал, что дважды дезертир, дезертировал из двух разных армий, попробуй переплюнь, браток, не получится, Свенссон, а ты он и есть, сказал он, и он сказал, что ненавидит

[68] Примечания: 68

Arbetets ära — название памятника в Мальмё. Памятник посвящен истории пролетарского движения и борьбе рабочих.

лагеря для беженцев, где он жил раньше, пока не нашел себе койку у площади Далаплан, там только была куча крестьян, сказал он, крестьян, которые бьют своих жен и детей, и я сказал, не ври, брат, ты врешь, ты преувеличиваешь, это ты звучишь как швед, чувак, а Юл Бриннер все это время стоял и что-то жевал с такой миной, как будто ему на все насрать, как будто он нас презирает, как его, эксплицитно, нет, как его, чтобы дать понять и типа выпендриться, а, хрен с ним, ты понял, демонстративно, ты хочешь сказать, да, типа того, и я научил Дарко выражению жевать жвачку, сказал, что Юл Бриннер презирает и жует жвачку, но Дарко объяснил, что ослы не жуют жвачку, они не жуют жвачку, и копыта у них не раздвоены, сказал он, поэтому их нельзя есть согласно Деварим, то есть пятой книги Моисея, и у меня на лице было некоторое удивление, когда я спросил, откуда он это знает, и он сказал, что его бабушка была сербской еврейкой из Венгрии, то есть из представленных в королевском совете королевств и земель и земель короны Святого Иштвана, как, по словам Дарко, рассказывала его бабушка, и эта бабушка научила его всему этому, и я сказал, о'кей, тогда осла есть не будем, из уважения к твоей бабушке, мир ее праху, и Дарко

сказал, что хочет снять фильм о Юле Бриннере, ну, о настоящем, не об осле, и называться он будет «Тюль длинный» или, может, «Июль мирный», он живо рассмеялся, оголив свои желто-коричневые зубы, но я ничего не понял, потому что не знал, кто такой Юл Бриннер, и Дарко рассказал мне о боснийских и югославских писателях, которых я тоже не знал, и он рассказал анекдот о затопленном сточными водами технофесте в Белграде под бомбежками НАТО. Нигилизм, брат, сказал он, настоящий, и пересказал свой сон: — Представь: Грифы. На скалах. Море и галька. Песок и груды водорослей. Соленая вода заливает трупы. Над ними склоняются черные птицы, и впиваются, и тянут, и рвут плоть, жилистую и неподатливую. Потом хлопок. Они смотрят наверх, поднимаются, расправляют свои фантастические крылья, поднимаются еще выше и выше, уплывают, исчезают. В руке у одного из тел намокший лист бумаги, на бумаге роза ветров, красные и черные чернила, белые поля, цифры и буквы. Написано: LEO. Я поднимаю глаза и вижу скульптуру, лев стоит около лежащей львицы, в которую попала стрела, двое львят забираются на львицу. Я обхожу скульптуру и вижу, что в львят тоже попало по стреле. Сзади кто-то написал баллончиком Rex

Nihil, понимаешь, то есть Король Ничего. Клево, да? Не знаю, Дарко, не знаю, что сказать, слушать об этом скучновато, если быть совсем, на сто процентов, честным с тобой. Потом я встретил его в каком-то подпольном клубе, окровавленного и совершенно обдолбанного, он успел прыгнуть и пробить головой потолок, я повернулся и сказал: Дарко, чувак, ты зальешь кровью мою рубашку, это как дурной сон, бро, не могу проснуться, я снимаю рубашку, на мне белая майка, мы позируем и корчим из себя крутых перед французским фотографом у клуба, магнифик андеграунд, говорит она, теперь я вспомнил, порох жег и разъедал, Ханссон начал драться на остановке, все примерзало, как язык к фонарному столбу, дернешь — и появляется кровь и лед, а ты бьешь и бьешь по лицу, в полном шоке, ничего не чувствуя. Просыпаюсь. Голоса как будто из ниоткуда. Что, крыса? Что ты хочешь? Жили очень просто. Грязь и безутешность наполняют пустые голые коридоры, и на каждой лестничной клетке таится опасность. Редкая женщина решится выйти из дома после наступления темноты. Моосманн играл сейчас «Сувенир» Джона Кейджа, мягко и умиротворяюще, так спокойно, что я почувствовал усталость и подумал, что задремлю, но тут

зазвучала грандиозная, тяжелая и мрачная серия звуков, мощный звон, звук, который наполнил меня изнутри и полностью окутал снаружи, и что-то, движения, динамика, удерживало меня, с закрытыми глазами, но не давая заснуть.

Может, что-то задрожало. Может, я, может, какое-то растение, может, что-то невидимое, скрытое. Моосманн играл «Сувенир», а я открыл глаза и уже был в пути, неприкаянный, встревоженный, пребывал в поиске вместе с остальными, на пути в сквот, автобус, все такое, и там я увидел, как мы отдыхали на потертом диване Бекки, что-то выпивали, пили кофе на балконе, Бекка с Кати что-то рассказывали о работе, которая была у них в Копенгагене, в массажном салоне с так называемым счастливым концом, они дрочили мужчинам за деньги и говорили, что это не проституция, это был массаж и мужчинам никогда, ни при каких обстоятельствах, нельзя было к ним прикасаться, и все, что кроме мастурбации, было строго запрещено, девушек, которые делали что-то еще, моментально увольняли. Один раз, рассказывала Бекка, я обманула Кати, она была новенькой, и мы прикинулись, что обвиняем ее в том, что она переспала с одним мужиком, я и начальница заведения, властная

мадам за шестьдесят, в 60-х была фотомоделью, забыла ее имя, сговорились и набросились на Кати с наигранной яростью, гребаная ты шлюха, как ты могла так с нами поступить, и так далее, и Кати в итоге разрыдалась, и тогда мы ее обняли и сказали, что просто пошутили, и Бекка рассказала еще одну историю, которую мы записали на кассету и отправили приятелю, историю о том, как она переспала со своим парнем, а после, когда он пошел в туалет, она начала мастурбировать, и потом он вернулся и спросил: что ты делаешь? — и она ответила, что я дрочу и пробую это на вкус, и оказалось, он не знает вкуса своей спермы, а она считала, что ну ты должен же это знать, и заставила его попробовать, и сперма ему не понравилась так, как ей, сказала она, и тогда они решили попробовать свою мочу, скорее, она решила, сказала она, и они пописали каждый в свой стакан, не перемешивая, и она попробовала свою, а он свою, он не хотел, но она его заставила, и вот и вся история, не знаю, понравилась ли она тебе, да и мне плевать, пока, сказала она на записи, и я не только допивала бухло на донышке из разных бутылок, но еще и писала в пивные бутылки, которые опустошала, и ставила их в стратегических местах, чтобы у тех, кто шастает

и допивает остатки, во рту оказалась моя теплая моча. Я ржал до слез. Позже мы сидели на пластиковых стульях, космополитичных, как сказал кто-то, они ведь есть везде, и пили «Нескафе». Ты знаешь, что я ненавижу чертов «Нескафе». Но ты никак не научишься пить крепкий черный чай? Ма, уходи отсюда. Никакненаучусь, твое второе имя. Да, но я знаю, что «никак» пишется через «и». Ого. Отлично! И ни разу. Блестяще, высший балл! Следующая остановка — университет. Короткий сон, надо позвонить какой-то Дейзи, или Мейзи, или как там она говорила, снова уснул в ночном автобусе. Видел, как другие встают и идут на работу. Описание мигрантских трущоб так захватывало, что трудно было отложить книгу. В Глазго постоянно идет дождь. Я надеваю капюшон, съеживаюсь и дрожу. Я все время боюсь, что на меня нападут и порежут и потом мне придется всю жизнь ходить с так называемой улыбкой Глазго. То и дело ее можно увидеть тут, в окрестностях Горбальса. Тощие и недоедающие парни со шрамами, видимыми или скрытыми. Но я осторожен и много тренируюсь. Вожу погрузчик на складе и искренне ценю дружеские отношения, сложившиеся в нашей команде. Никакого расистского дерьма, так называемые идентитаристы

сидят в своем углу, а присутствие Бекки удерживает маскулинность на приемлемом уровне, за исключением гомофобии. Часто фантазирую о том, как меня избивают, режут, даже убивают. Иногда о том, что это я нападаю, на грани безумия, убиваю кого-то. Тяжелые удары по горлу. Пару недель назад был остановлен полицейским и все время, пока он со мной разговаривал и задавал тупые вопросы, на которые сам знал ответы, все это время я представлял, как метелю его. Как он просит пощады и как я продолжаю бить. Меня это так чертовски успокоило, что копы в конце концов сказали, о'кей, ты, похоже, нормальный пацан, так что мы тебя отпустим, но траву заберем, и в следующий раз имей в виду, что личное пользование это не сколько угодно, и так далее, есть границы, понимаешь, они плавающие и относительные, но это не значит, что их нет, и так далее, ты на грани, ты крутой, у тебя есть работа, никаких детей под боком, и так далее, мы не думаем, что ты торгуешь, но поразмышляй об этом, обмозгуй всё, парень, пацан, малыш, и так далее, как всегда, и мне пришлось съездить еще раз, сначала к барыге, потом в спортзал, потом поспать, потом на работу, и все это время я бил копа в горло. Резкий удар — и он лежит и не

может дышать. Пинки ногами, коленями. И так далее. Как-то вечером я сижу во дворе с Айданом М., одним из пацанов, с которыми я здесь познакомился. Когда он без своих корешей, то не такой напряженный и дерганый. Мы ржем над тем, что мама Марии назвала ее сукиной дочерью, и вдруг рядом оказывается его батя и начинает рассказывать о бандах прошлого, говорит, что в Глазго они имеют долгую историю, уже в VIII веке они метали друг в друга камни у реки Клайд, потом пришли католики, когда они поглотили Ирландию, и потом образовались «Cumbie Boys», «Tongs», и «Toi», и «Come On, Die Young», и «Brigton Billy Boys», и «Govan Team», и всякие разные «Mad Skwads» и «Young Teams» [69], и все остальные, как их там, а сейчас, говорит Стюарт, так зовут батю Айдана, у каждой долбаной ветхой высотки, у каждой захудалой лачуги есть своя банда, охраняющая свою территорию. Но все знают, говорит он с дурацкой ухмылкой, что там только одни скучающие подростки со спермотоксикозом, накачанные дешевым бухлом и плохими наркотиками. Так ведь, Айдан, говорит он и дает сыну подзатыльник, так ведь вы же не опасные,

---

[69] Примечания: 69
Названия шотландских групп и их хитов.

не по-настоящему опасные, и Айдан отталкивает руку Стюарта и говорит, да что ты вообще знаешь, мудак долбаный, что ты знаешь обо мне? Да ладно тебе, говорит папаша, я ничего плохого не имел в виду, и Айдан уходит, а Стюарт качает головой. Он смотрит на меня и долго смеется. Палец в рот не клади этому юнцу, говорит он, а потом стреляет у меня пару сиг и отчаливает. Гребаный бич, думаю я и жалею, что не заступился за Айдана. Мрачные кирпичные фасады, выходящие на улицу, однако скрывали почти весь упадок и нищету. Прохожие практически не видели лачуг, выраставших во дворах и забитых под завязку. Закоренелые представления о том, что синим воротничкам не нужно солнце, воздух, вода или простор, казались неискоренимыми. Тут звонит Кико, и я думаю, что больше не могу, но потом мы все равно едем в какой-то сквот, я сижу в фургоне с Кико и Раваной и каким-то незнакомым мне чуваком за рулем, и я спрашиваю, где все-таки находится это место, и Кико говорит Elephant and Castle [70]. Мгновение я ничего не слышу, и не вижу, и думаю только, EC, EC, Elephant and Castle, Elephant and Castle. Я замечаю, что Равана чешет

[70] Примечания: 70

Слон и за2мок *(англ.)* — район вокруг крупной транспортной развязки в Лондоне.

левую руку, покрытую какой-то кровоточащей сыпью. И тут я вспоминаю, «Хейгейт истейт», ЕС, и говорю прямо в машине, что там ведь жили Дерек и Амин, с которыми мы пару лет назад вместе работали на «Атропосе», и я вдруг чувствую во рту этот вкус, это отвращение, как будто это было вчера, нет, как будто это было сегодня, на самом деле прямо здесь и сейчас. Тут дело в уважении и чести и достоинстве и все такое. В том, чтобы отстаивать все, чем они являются, хотя они ненавидят то, чем являются. Все знают в душе́, что ненависть к себе — самая сильная ненависть. Самый мощный мотор. Хейгейта, говорит Кико, больше не существует. Эту хреновину снесли, построили там просторные офисы для финансистов, или художественную галерею, или что-то типа того, говорит Равана. Черт, я все это почти забыл, говорю я Кико и Раване, но теперь начинаю припоминать. Так реалистично, что становится даже не по себе. Как будто время остановилось. Этот вкус во рту, говорю я, смесь пота и работы, травки и алкоголя, ржавчины и соленой воды, вкус блевотины и таблеток от морской болезни, вкус белладонны. Клянусь, говорю я Кико и Раване, Белладонна, просто смешно, но он так ее называл, короче, капитан «Атропоса», корабля, на котором

мы работали, «Атропос», маленький элитный крейсер для скучающих, неизобретательных яппи с избытком времени и денег. Дерьмовая работа, несомненно, но все-таки гораздо лучше, чем прошлая, за прилавком в магазинчике с порно прямо у Репербана. Слушай, говорю я Раване, в те времена я жил на Штернштрассе, на другой стороне напротив парка аттракционов, и обычно тащился домой по утрам мимо полицейского участка и шлюх, мимо груд чесоточных панков, пробирался по Хайлигенгайстфельду, пустынному «диснейленду», набитому пластиковыми пальмами, клоунами и китчевыми граффити, в тени огромного нацистского бункера, восход солнца и тишина, пение птиц, полная депра, но все равно какое-то стремление к этой жизни, к этому способу умирания, медленному, дурацкому, незаметному, это подходило такому, как я, лучшему из худших, как говорится, но да, как-то вечером я сидел в «Лемитце», выпивал и заговорил с каким-то челом, представившимся как Маш, мы раскурили косячок, и оказалось, что он кок на «Атропосе», и он спросил меня, умею ли я управляться с эспрессо-машиной, шинковать лук, жарить говядину и готовить салат «Цезарь», и я сказал, конечно, ясен пень, хотя на самом деле

понятия не имел, но он улыбнулся и сказал, что я нанят. Кико меня больше не слушал, он сидел и разглядывал бумажку, которую нащупал в кармане, поэтому я повернулся к Раване, которая так и сидела и чесала свою кровоточащую руку, и сказал, «Атропос», клянусь, первое, что надо было запомнить, какие зоны были «запретными», «мертвыми» и как там их еще называли, а таким в общем был весь корабль, за исключением самого ресторана, кают ниже уровня моря, где мы спали, а также минимальной зоны наверху, на палубе, вне поля видимости, чтобы яппи не приходилось видеть нас дольше необходимого. На кухне работали только мужчины, а разносили еду, то есть были официантками, только женщины, за барной стойкой был смешанный состав. Среди яппи были как мужчины, так и женщины, в основном белые гетеросексуальные пары, хотя иногда попадались цветные или гомосексуалы. Мы работали с четверга до вторника и были свободны по средам, когда чаще всего причаливали в каком-нибудь новом порту и забирали новых яппи. Персонал включал в себя также охранника, сборщика посуды, диджея, а также так называемого распорядителя туалета в белой рубашке и черной бабочке. Муди, или Муди Блюз, как гово-

рили некоторые, или Муди Блэк, как говорили другие, или Мюлинге, как его звали на самом деле, в мужском туалете: он протягивал бумажные полотенца только что помывшим руки гостям и предлагал им побрызгать их туалетной водой, дешевой, с химическим цитрусовым запахом, от такого предложения большинство обычно отказывались с плохо скрываемым отвращением или сочувствием. Мюлинге же убеждал себя в том, что обеспечивает там порядок, и на самом деле в этом была доля правды. Официально в его задачу входило сообщать о любом злоупотреблении наркотиками, то есть о каждом употреблении, охраннику, который в таком случае должен был наказать человека, совершившего криминальное действие, при необходимости применив приемлемую силу, как выражался Винни, охранник. Само собой разумеется, никто вообще не следовал этим правилам, когда гостей у нас не было. В женском туалете работала Фарай, у которой не было прозвища, может, потому что она никогда ни с кем не разговаривала, она вообще не говорила больше, чем было необходимо, всегда только «привет, да, нет, не знаю, спасибо, пожалуйста, пока». Но Муди утверждал, что она чертовски умна, заочно изучала юриспруденцию и одна-

жды станет первой женщиной – генеральным секретарем ООН или кем-то вроде того. Тогда ей не придется больше стоять в туалете и слушать пьяную болтовню белых людей, тогда ей больше не придется работать среди богатых белых яппи, которые пердят и писают, которые срут и нюхают кокс, которые смотрят на нее презрительно, пока вытирают руки и сморкаются, красят губы помадой или заливают шею своим дорогим парфюмом. Тогда, может быть, она вспомнит своего друга Мюлинге, который стоял по другую сторону стены, в таком же помещении, почти как ее отражение, и выполнял такую же работу, как и она. Тогда, может быть, она хоть раз обо мне подумает. Надеюсь, сказал он, надеюсь, она не забудет свои истоки, так сказать. Мы ведь работали вместе, хоть и стояли в разных помещениях. Я ведь стоял под тем же слепящим светом, где раздавались те же отталкивающие звуки и витали те же удушающие запахи, у меня был такой же вкус во рту после двух часов нахождения там. Разница в том, что я стою посреди мужчин, а мужчины немного отличаются. Ты же знаешь, это всем известно. Они немного агрессивнее, немного опаснее, но я без проблем нахожусь среди них. Я требую уважения. И я сильный. Я могу справиться почти со

всем и со всеми, сказал он. И как-то утром я стоял и шинковал лук, со слезами на глазах, и вдруг услышал, как Арго спрашивает Муди, который зашел за своим конвертом с зарплатой, почему тот остается здесь, в своем «кафельном королевстве», как он сказал, год за годом, в то время как женщины уходят и приходят, как, вероятно, уйдет и Фарай, в ООН или в другое место. Он не злорадствовал, ничего такого, короче, смысл скорее был в том, что Муди достоин гораздо большего, но где-то в глубине все равно было это, обвинение, вопрос «почему ты себя унижаешь?». И я выглянул в окошко и увидел, как Муди слегка покачивал корпусом и улыбался Арго. Слушай… Наверное, я слишком сильный. Быть сильным — это не всегда хорошо. Понимаешь, о чем я? Может, и нет, сказал Арго. Или нужно просто правильно использовать силу. Я бросил порезанный лук в нашу самую большую кастрюлю, поменял нож и доску и достал миску овощей, которые собирался почистить и вымыть. Но слушай, в этой жизни не на всё можно повлиять, сказал Муди. Мимо проходил Марио. О чем болтаете? О жизни, чувак, сказал Муди. О судьбе. Судьбе? О судьбе я знаю всё, мой друг, сказал Марио. Ты видел мою татуировку? Она у меня с шестнадцати

лет. Он расстегнул рубашку. Посередине груди было написано AMOR FATI, жирными буквами, в технике шрамирования. Человек должен любить свою судьбу, лаконично произнес он. Блин, чувак, сказал Арго. Это шрамы? Больно было? Марио застегнул рубашку. Иногда боль — это хорошо, правда ведь? Это напоминание, что-то, что лечит. Не так ли? Черт возьми, сказал Арго, любить мою судьбу, не знаю, честно говоря. Муди засмеялся. Amor fati, брат. Подумай об этом, чувак, сказал Марио. Это знание старше, чем все, что нас окружает. Наши предки во многом были мудрее нас и были, так сказать, в большей гармонии с нашей природой, если понимаешь, о чем я. Это древнее знание. Расставляй приоритеты. Речь именно об этом. Расставляй приоритеты, брат. Дверь вдруг распахнулась, и показался Андреа, пьющий итальянец, который кивнул и сказал: Маш здесь? Я покачал головой. Ты отжигаешь, чувак. Андреа всегда, когда работал, слушал металл на мучительно высокой громкости. Конечно, если там не было Ма́ша, который хотел тишины на кухне. Пока, сказал Муди и ушел в офис, в то время как Андреа вынул кассету с каким-то трансовым техно, которое слушал Андерс, сидящий на таблетках швед, и на максимальную громкость включил

«People = Shit» [71] группы «Slipknot», заорал Here we go again, motherfucker [72] и стал со своего рода контролируемой яростью вытаскивать ножи и ложки, пакеты с луком, ведерки с маслом, мукой, сахаром и солью, кастрюли разных размеров и доски разных цветов, словно странный, бешеный маленький персонаж комиксов. Маша на самом деле звали Массуд (не знаю, почему его называли, или он сам себя звал, Маш, я бы предположил, что какой-то мерзкий начальник так его окрестил и остальные начали повторять: Машрум [73], чтобы унизить маленького араба). Он начинал с работы посудомойщиком, но продвинулся наверх, получил образование и теперь был поваром, chef de cuisine [74], как он любил говорить, и он сидел за барной стойкой, пил капучино чашку за чашкой, курил «Мальборо лайтс» и читал рецепты, которые очень редко и чуть ли не против воли одобрял, а если подойдешь к нему в тот момент,

---

[71] Примечания: 71
«Люди = дерьмо (*англ.*).

[72] Примечания: 72
Мы продолжаем, ублюдок (*англ.*).

[73] Примечания: 73
Mushroom — гриб *(англ.).*

[74] Примечания: 74
Шеф-повар кухни (*фр.*).

он поднимал руку, как будто говоря, не беспокойте меня, а если ты не уходил, то он смотрел на тебя с кривой ухмылкой и произносил: Я тебе рассказывал, какие у меня большие шары? Ты когда-нибудь видел барана сзади? Я серьезно. У меня большие, волосатые, тяжеленные шары. Почему их не видно, раз они такие большие? — интересовались мы. Мешковатые джинсы. Бог мне свидетель, говорил Маш. Не очень-то и мешковатые, Маш, возражали мы. Посмотри на Андреа, вот *это* мешковатые. Это оптическая иллюзия, говорил он. У Андреа там один воздух. Как и у него в голове. О'кей, тогда покажи их. Кого? — улыбался он. Шары, чувак. Нет, нельзя. Увы, друзья. Только женщины могут на них смотреть. Мужчины этого не выдержат, сойдут с ума от зависти. Потом попытаются меня убить. Смотрите. Он показал на шрам на шее, семь-восемь сантиметров в длину и шириной с дождевого червя. И Лиз сказала: Но покажи тогда только мне. И тут он покраснел, и замолчал, и поднял два пальца вверх, и никто не понял, что это значило. Маш был алжирцем и не скрывал, что презирает марокканцев, кока Тахара и посудомойщика Амина. Тахар был правой рукой Маша, су-шефом, как говорил Маш, но он был инертным и почти

не имел авторитета. Вдобавок он страдал чем-то, что называется билатеральный птоз, опущение век на обоих глазах, так что у него всегда был такой вид, как будто он засыпает, а это еще сильнее подчеркивало его летаргическую сторону, и все это вместе, вероятно, давало Машу чувство некой неприкосновенности, особого положения. У Амина был самый низкий статус. Он был chef de plonge, шеф посуды, или что-то подобное, как говорил Маш с ухмылкой. Это он жил в Хейгейте, в районе Elephant and Castle, в маленькой двушке, со своим отцом-фундаменталистом. Папа работал уборщиком в метро. Они отправляли деньги семье, оставшейся в какой-то деревушке в Марокко. Амину было семнадцать, но во многих отношениях он оставался ребенком. Он был абсолютно неграмотным, крайне неопытным и знал очень мало о мире за пределами папиной квартиры и дороги на работу и обратно. Он мог подойти и встать в десяти сантиметрах от чьего-то лица и так и стоять, дышать и проверять, что человек будет делать. Тогда Андерс выходил из себя и шипел: Отойди на фиг, Амин. Ты знаешь, что такое личное пространство? Личное пространство? — с невинным видоми повторял Амин. Черт. Маш, расскажи Амину про личное пространство. Нет,

нет, нет. Не могу. Он не понимает, это слишком сложно. И на арабском: Иди мой посуду, Амин. Ялла, поторапливайся, не стой здесь без дела. Чертовы крестьяне. Они как дети, мог сказать Маш о марокканцах, они ничего не могут с этим поделать. Они другого не знают. С ними так и нужно обращаться. Как с ослами. Слушай, Кико, сказал я, ты спишь или что? Что с тобой? На какую фигню ты там сидишь и пялишься? Равана, послушай меня, это важно, я помню, что Андреа тоже любил прикалываться над Амином, короче, мы передавали посуду в подвал в больших синих пластиковых баках на маленьком лифте, и иногда Амин поднимался, чтобы проверить баки и отправить их вниз, если они заполнились, и каждый раз, когда он заходил на кухню, Андреа протягивал ему что-нибудь выпить. На кухне была полочка с белым вином, красным вином, коньяком, ромом, анисовой водкой и чем-то еще по мелочи, что могло понадобиться при готовке. Большая часть попадала в горло к Андреа, но он хорошо умел это скрывать. Он знал, что Амина уволят, если вскроется, что тот пил алкоголь с кухни, на самом деле запрещено это было для всех, но кокам делали некоторые поблажки, особенно Андреа, поскольку работал он там давно и

справлялся хорошо, особенно в горячее обеденное время, в самое нервное на кухне, и до того, как успевал набраться. Еще он знал, что употребление алкоголя противоречило религиозным убеждениям Амина. Но Андреа все равно наливал пару глотков в стомиллилитровую емкость и подзывал Амина. Смотри, это тебе, мой друг. Попробуй. Амин смущенно улыбался и нервно тряс головой. Нет, нет. Мне не надо. Давай, подбадривал Андреа. Будь мужчиной. Амин подносил обе руки к лицу и медленно ими махал. Мимо шел Андерс с двумя белыми пятилитровыми канистрами. Говорил: Отстань от него, Андреа, с улыбкой. Нет, нет, нет. Мой отец, сказал Амин и провел указательным пальцем по горлу. Вперед-назад. Отец меня убьет. Амин поставил чистую посуду на полку. Как он узнает? — засмеялся Андреа и всплеснул руками. Кто ему расскажет? Тахар, ты расскажешь? Тахар, стоявший и вынимавший кости из стейка из лопатки, посмотрел на Андреа с усталым видом и вяло пожал плечами. Андреа ему всегда не очень импонировал. Амин поставил бак с грязной посудой в лифт и закрыл люк. Вы, мусульмане, долбанутые, блин. Давай, Амин. Будь мужчиной, забей на Тахара, он просто завидует. Амин молчал, стоял у раковины

и споласкивал руки. О'кей, ну ссы и дальше. Сам выпью, сказал Андреа и проглотил содержимое. Амин отвел взгляд и ушел вниз к своей посуде, всегда одно и то же, короче, Маш не особо различал имена Андреа и Андерс, он часто называл Андерса Андреа и наоборот или говорил обоим Эндрю, поэтому в конце концов они стали писать свои имена на арабском на передней части тех белых одноразовых поварских шапочек, которые у нас были, чтобы Маш мог ходить и кричать свое: Ялла, ялла! Работайте, работайте! Андерс! Андра! *Сам шевелись!* — вперемешку с потоком арабских слов, заставлявших Тахара с Амином унизительно сжимать зубы, опускать глаза и продолжать мести пол, спускать вниз посуду, отскребать жир с плиты или где он там был. Как всегда, говорит Равана, всё, как всегда. Дождь так и идет. Что происходит, Кико? — говорю я. Это уже «слон»? Кто все-таки ведет? Брат, успокойся, говорит Равана и наконец опускает рукав свитера на свою испачканную руку, и я смотрю на нее и сначала молчу, но думаю о мышке, которая лежала на полу у меня в комнате в тот раз, когда Равана заходила ко мне в гости. Потом я все-таки не могу удержаться и говорю: Равана, ты помнишь? Помнишь, как ты жила у меня, когда

собиралась завязать с герычем и этим всем? О чем ты? — спрашивает она и прислоняется лбом к окну, которое снова запотевает, как будто стирая улицы, и дождь, и разноцветные огни, и я думаю, что мы оба вспоминаем о той убогой комнатке в Брикстоне, где она жила с сестрой и своим кавалером, кем он там был, словак или чех, или что-то в этом роде, у них даже своего туалета или ванны не было, поэтому когда к ним кто-то заходил, им приходилось сидеть и вмазываться прямо перед гостем, хотя им этого не хотелось, они просто поворачивались спиной, чтобы человек не видел само введение, иглу, канюлю, сам момент прокола, там проходила своего рода граница, которую они переступили и понимали это уже тогда. Что ты, блин, несешь, снова говорит Равана, и я понимаю, что ей стыдно, потому что весь этот унылый героиновый стиль совершенно безумен, если посмотреть на него со стороны, а если рассматривать его изнутри, то быстро становишься отталкивающим, как и все героинщики, внешне, по крайней мере, внутри у них может быть что-то совсем другое, и у Раваны действительно внутри был огонь, она была крутой, сильной и мудрой, и она могла найти выход из самых тяжелых ситуаций, в отличие от своей сестры и того му-

жика, с которым она жила. Равана помогала мне, когда я был зеленым и у меня началась паника на рабочем месте, потому что я не справлялся, я не мог успокоиться, не мог спать, параноил, начал депрессировать, и травка не помогала, и алкоголь помогал только чуть-чуть, а принимать ешку [75] на работе никто не решался. Это был как будто кошмарный сон, словно весь пол готов был меня поглотить, засосать в бесконечную инфернальную дыру, и мне хотелось плакать как ребенку, и я изо всех сил старался держать лицо, и я держал лицо, я был сдержан, но Равана знала, Равана видела панику, не знаю, у меня в глазах, читала язык тела или чувствовала по запаху, запаху страха, и она просто встала рядом со мной, взяла меня за руку, и мы так и стояли за барной стойкой, вечер только начинался, гостей в помещении было немного, только пара яппи, пивших пиво после работы, мы стояли рядом в нашей униформе, в наших фирменных кофтах, вроде там был логотип «Бакарди» на груди справа, симпатичный логотип, похожий типа на летучую мышь, и в наших черных передниках, и в конце концов я успокоился, опустился в теплые объятия

---

[75] Примечания: 75
Имеется в виду экстази.

будущего, в ласковый утренний косяк на втором этаже 38-го автобуса, и она тоже была ласковой и только что после дозы, спокойная и уравновешенная, со сверкающими глазами, и она держала меня за руку, конечно, я тогда был как ребенок, все будет хорошо, сказала она, ты справишься. Поэтому, когда она сказала, что хочет завязать с героином, я, конечно, вызвался помочь. Как-то вечером она заехала ко мне, мы потусили, я выпил и покурил, ее ломало, и мы сидели и разговаривали, трахаться даже в мыслях не было, пока я не уснул на полу, а она лежала, и крутилась, и мучилась у меня в кровати. Утром мне нужно было на работу, и она спала, когда я свалил, а когда я вечером вернулся домой, на лестнице лежала дохлая мышь, мягкая серая мышка с розовыми лапками, а Раваны не было. Ни записки, ничего. И клянусь, пару секунд я думал, как бы против воли, что она и есть эта мышка. Что она умерла, и вот это типа и есть ее настоящее тело, что вот этим она и является, маленьким грызуном, вредителем. Да ты прикалываешься надо мной, говорит Равана, такого никогда не было, чувак. Ты стебешься, брат. Было, Равана, улыбаюсь я, не помнишь напечатанные на машинке записки, которые мы оставляли друг другу? Should I persue a path

so twisted. Should I crawl, defeated and gifted? [76] А Арго писал: Why must I be the thief? Why must I be the thief? Oh Lord, please won't you tell me: Why must I be the thief? [77] Коди, говорит Равана, ты разговариваешь с кем-то, кого здесь нет. Мы не понимаем, о чем ты. Я поворачиваюсь к Кико, но его место в машине пусто. Кико? Ты где? О чем ты, Равана? Ты хочешь сказать, что не помнишь того черногорца, Марко, или Мирко, или Марио, да, Марио, который все время говорил о независимости Черногории от Сербии. О чем бы ни шла речь, говорили ли о производстве сыра, дырявых носках, травке, тернтаблизме, современной русской литературе, о чем угодно, о чем бы ни велась дискуссия, он всегда мог перевести ее на Crna Gora, Черногорию, а потом пел «Oj svijetla majska zoro» [78]. «Наш будущий гимн». Majko naša

---

[76] Примечания: 76

Должен ли я продолжать идти по этому извилистому пути? Должен ли я ползти, побежденный и получивший награду? *(англ.)* – из хита Патти Смит «Pissing in a river» («Писая в реку»).

[77] Примечания: 77

Почему я должен быть вором? Почему я должен быть вором? О Господи, пожалуйста, не скажешь ли ты мне: почему я должен быть вором? *(англ.)* – из хита группы «Radiohead» «Thief» («Вор»).

[78] Примечания: 78

«О светлая майская заря» (*черног.*).

Crna Goro [79]. Это что, больше не важно? Черт, почему я это помню? Кико? Марио повернулся к Паоле, итальянке, которую он называл Изабеллой, поскольку считал, и довольно справедливо, что она похожа на молодую Изабеллу Росселини, но со щербинкой между передними зубами, и запел «O sole mio» [80], и сказал что-то слащавое, а бодибилдер Давид из Мадрида угощал кокаином, а бармен Мухаммад, он называл себя Дан, который во время рамадана пытался скрыть, что курит гаш — он тайком курил косяки в маленьком туалете для персонала в подвале, — пока не осознал, что это смешно, что все знают, тогда он сказал, что считает это своим личным делом с богом, нам надо на это закрыть глаза и забить, что мы и делали все время, а Дарек, поляк за прилавком, который обращался ко мне за помощью, который всегда стирал свои вещи в машине, предназначенной только для рабочей одежды, чтобы не платить за прачечную, он все время тихонько проносил какой-нибудь пакет, набитый мокрыми джинсами, толстовками и трусами, он был полным придурком, настоящим варва-

[79] Примечания: 79
Мать наша Черногория (*черног.*).

[80] Примечания: 80
«О мое солнце» (*ит.*).

ром, комичным персонажем, который врезался в столбы, когда со своей дебильной ухмылкой засматривался на телок, от геев и их бесстыдства глаза у него вылезали из орбит, лицо у него всегда выражало в равной степени любопытство и панический страх, я обычно брил ему голову в грязном помещении для персонала в подвале, между стиральной машиной и нашими шкафчиками, кругом влажный бетон и постоянный поток работников, заходивших, чтобы выкурить косяк у дырки вентиляции над унитазом, точно как Дан, а она, как ее звали, итальянка, не Паола, другая, та, которая встречалась с моим барыгой, которая заходила, чтобы посплетничать о начальнике, гребаном мудиле, а я стоял за сидящим на табуретке Дареком и смотрел на стиральную машину, где снова и снова крутились его вещи, и я прижимал триммер к его черепу, и он все время говорил: сильнее, сильнее, дави, и я со всей силы прижимал гребаный триммер к его макушке, в любой момент ожидая, что в воздух полетят куски кожи, а он такой: сильнее, браток, mocniej, сильнее, mocniej kurwa [81], и я давил и давил, но ему все время было мало. Черт побери,

[81] Примечания: 81
Сильнее… сильнее, бл. ть (*пол.*).

Равана, нужно было мне обдать кипятком этого грязнулю, соскоблить кожу ножами Массуда, которые он отправлял на лазерную заточку раз в две недели, и назад они приезжали такими чертовски острыми, что кто-нибудь всегда ими резался до крови, а Дарек заходил и просто хотел посмотреть, потрогать и поржать, какие острые эти долбаные ножи, себе я брил голову бритвой, приятно было через пару дней после бритья проснуться утром и провести ладонями вдоль роста волос, почувствовать гладкость и потом провести руками назад, услышать звук, похожий на шуршание наждачки, почувствовать жесткость волос и как тело постепенно просыпается. А за окном каюты простиралось море, вечное море, пустое, пугающее, но бессмысленное море, колеблющееся и плещущее. Море, Равана, ты скучаешь по нему? Или забыла его? Сейчас мы сидим в такси, в Глазго, едем вдоль района Клайд, на южной стороне, в сторону Горбальса, где что-то мутит Дима. Давид платит за такси, он уже угостил двумя дорожками, ведет себя немного странно, мне кажется, что это с ним? Дима хрипло смеется, он работает на сносах. И живет по временному контракту в доме под снос. Ты живешь по временному контракту, чувак?

Ты слово, цифра, буква? Ты знаешь, что это так. Так, полегче, говорит Равана. В дымку с Димкой, смеется он. Мы идем. У нас были проблемы с молодежными лигами, говорит пожилой мужчина, такими как «Mulberry Street Gang», «The Cherry Street Gang», и также женскими лигами, например, знаменитыми «The Robinettes» — в мое время «Mulberry Street» и «Five Points» были разбиты «The Wy-ós», «The Potash», «The Molasses Gang» и многими другими. Мы назначили специальное контактное лицо и попытались превратить лиги в молодежные клубы и объединения. Их деятельность охватывала тяжелую атлетику, теннис, фехтование, кожевенное дело, чеканку, керамику, уроки степа и балета и занятия по рисованию. Мы запаслись боксерскими перчатками и попытались увлечь банды, чтобы они превратили свои разборки в спортивные. Вместо этого случалось, что оборудование клубов и многое другое уничтожалось, а одна мирная лига при случае запросила помощь из кассы организации на покупку разнообразного оружия для самообороны. Частично социальная неприспособленность молодежи нашла выход в музыке — примерно как в шоу «Адская кухня» в Порт-оф-Спейн в Тринидаде, — и некоторые группы, играющие калипсо, и

один танцевальный оркестр, «The Riis Ramblers», получили некоторую известность. Я рассказываю о собеседовании о работе в одном книжном магазине, который обустраивал Джеймс. Книжный магазин в Вест-Энде. Вольтер и Руссо. Настоящий, мать его, книжный магазин, забитый старыми книгами, с чешской чайной комнатой и всем набором. Похоже на нормальную работу, говорит Дима. Круто. Не продолбай ее, брат. Иметь нормальных друзей – это роскошь. Ты о чем? Просто какое-то вечернее чаепитие. Как ты думаешь, о чем я? Серьезно, ты о чем? В смысле, о чем? Ты совсем придурок? Он о том, что у тебя больше нормальных друзей, а мы нищие. Цыгане. Настоящая цыганщина. И поэтому у тебя все получится. Нормальная работа, нормальная жизнь и все такое. Просто какая-то прогулка в лучах солнца в розовом саду. А вы? Я знаю, говорит Дима и показывает на каждого по очереди. Тюрьма, передоз, террорист, уборщица, изгой общества, психушка. Эй, почему я буду уборщицей, хреновее некуда. Ты несешь столько фигни, Дима, сказал я. Вы все справитесь. Я знаю. Совершенно уверен. Я же продолбаю эту работу как всегда, и все снова будет как всегда. Как всегда, говорит Равана. Как всегда. А потом? Потом? Сама знаешь. Потом.

Сама знаешь, что будет потом.

Цветы, что там было с цветами? Когда Моосманн там, в соборе, играл «Mein Weg hat Gipfel und Wellentäler» [82] — тогда я увидел фрактальные структуры, то, как колебания несли нас вперед, день за днем, а потом снова день за днем, год за годом, будто падающие лепестки с мягкими изгибами, падающие, бело-розовые, красные и зеленые, ароматные и дрожащие, — тогда я уже сидел на лестнице снаружи, ждал Арго, и крошил окурки на новый рулон бумаги, и услышал, как кто-то кричит: Брат! До этого мы пришвартовались в каком-то безымянном порту и остальные собрались на какое-то шоу по кикбоксингу, а мы с Арго хотели потанцевать, так что сделали пару звонков и навели справки, нужно было сначала убить пару часов, так что мы поехали в гипермаркет «Теско», купили клюквенного сока, сели в южном углу парка и пили водку по-польски, как говорил Дарек, глоток водки из бутылки, два глотка сока из пакета. Арго назвал меня дикарем. Я сказал, что если бы я был дикарем, то переспал бы с ним. Он сказал: Ты и правда можешь. Ты

[82] Примечания: 82

«На моем пути есть вершины и долины волн» (*нем.*) – произведение Арво Пярта (1989).

ведь сосал член того итальянца, разве нет? Я позабочусь о тебе лучше любой женщины. Ты же знаешь, что это было ошибкой, сказал я, тут было больше деструктивного, чем сексуального, если понимаешь, о чем я. Он поморщился. Я тебе первым позвоню, когда выйду из шкафа, сказал я. Пообещай. Обещаю. Слушай, это не значит, что ты педик. Чего? Если ты меня поимеешь. Это как в тюрьме. Актива не касается. Так же, как в Агадире. Никогда меня столько не трахали, как там, но если бы я сказал тем ребятам, что они педики, они бы меня убили, буквально забили бы до смерти. Это я был педиком. Они были маскулинными гетеросексуалами, и их просто заводила дырка, не важно, был я мужчиной, женщиной, животным, черным, белым, зеленым или вообще куском мяса. Понимаешь? Да, но сейчас я не такой примитивный все-таки. Точно. Черт, я забыл, ты же читаешь Мистера Германа Госси и можешь по буквам произнести fuck all. Точно, правда его зовут Гессе. Герр Герман. О'кей, отлично. Значит, мы определились. Ты не дикарь, не педик и даже не би, а просто-напросто искушенный гетеро. Одиноко тебе, должно быть. Но, наверное, ты можешь трахнуть одну из лошадей, с высоты которых тут вещаешь. Я рассмеялся. Может быть,

Арго. Ну то есть если они женского пола. Как это там? Самка лошади, кобыла? Я дам знать, если это станет актуально, чтобы ты смог посмотреть. Тогда у тебя будет возможность подрочить на мой трясущийся зад. Ах, как великодушно, дорогой. Но знаешь, королевы не смотрят в лошадиную манду. Нет, они и слово «манда» не употребляют. Пошел ты. Могут и употребить, если их достанут, спровоцируют истеричные гетеропридурки, которые лучше переспят с мерзкой торчащей шлюхой, чем избавятся от своих предубеждений. Ну хватит, я с ней не спал, и это тоже было ошибкой. Знаешь, о чем я подумал? Серьезно. Когда мы впервые пришли в тот клуб. Все эти геи-качки, на самом деле я тогда по-настоящему испугался. Да, они бывают очень экстравагантными. Да, но я не про это. Я про то, что увидел, какие они большие и сильные, и что они хотели меня поиметь, и что мне нечего было противопоставить им. Когда я был в туалете, трое из них стояли там и танцевали в запахе мочи. Абсурд. Дрыгающие задницами, с голым торсом, потные и коричневые от крема для загара мешки с мускулами. Они напомнили мне такие фигурки Хи-Мена, которые были у других мальчиков в моем детстве, и они назвали меня милашкой, и наклонялись над писсуаром,

чтобы посмотреть на мой вялый член, и комментировали его, чтобы я не мог пи́сать, и это заняло еще больше времени. И я подумал, черт, если они захотят, то изнасилуют меня как нефиг делать. Арго засмеялся. Но милый мой, у этих качков вообще не стоит. Сколько анаболиков они жрут, и потом все дерьмо, которое принимают, когда выступают. Внешне они упругие и блестящие, а на самом деле разлагаются. У них типа ничего не работает. Но неважно, встает у них или нет. Речь не об этом. Интересно то, что у меня появились такие мысли, что я ощутил что-то совершенно для меня новое — уязвимость, осознал, что их внимание в какой-то степени насильственно. Коди, позволь представить тебе твою женскую сторону. Женская сторона — это твоя невежественная мальчиковая сторона. Да, я на самом деле тоже так подумал. Связь между маскулинностью и вот этим ощущением угрозы, сексуальным насилием или как сказать… Интересно. Интересно, говоришь? Ты недостаточно испугался, как я вижу. О чем ты? Тебе еще многому нужно научиться, чувак. Блин, не могу больше говорить, с меня хватит. Вечер пятницы, пора веселиться. Скоро начнется гребаная работа. Давай сюда бутылку. Нам скоро пора в клуб. Арго рыгнул,

сделал два больших глотка и поморщился. Потом мы поехали на такси в «Анодайн». Ходили слухи, что какая-то новая восходящая звезда будет выступать там вместе с Арилом Брихой. В такси Арго положил руку мне на бедро. Я посмотрел на него и засмеялся. Мы обнялись, и он сказал: Слушай, если бы я мог сделать это в дружелюбной манере, я бы тебя изнасиловал. Я похлопал его по голове. Подрасти сначала, сказал я. У клуба была большая толпа, теплые ночные огни, меня сразу же охватило какое-то ощущение счастья, пробивающегося на поверхность, тепло в груди, гордости, неги, я жил, я не был мертв, и более того, я наслаждался этой дерьмовой жизнью. Мы поздоровались с парой друзей и потом нырнули в темноту. Арго заплатил за вход и исчез с каким-то мужиком, я купил лимонад, принял ешку и ждал, пока она подействует. Вдруг я чувствую, что вокруг меня пахнет дерьмом. Оглянувшись, замечаю, что девушка, стоящая рядом, тоже морщится. Мы встречаемся глазами и начинаем говорить о запахе дерьма. Я рассказываю историю о подвальном клубе в Белграде. Во время бомбардировок НАТО клуб работал, как раньше, и однажды ночью бомбы попали в соседний дом, в клубе прорвало канализацию. Тысячи литров

воды с дерьмом выплеснулись на танцпол. Мы буквально плескались в дерьме, говорю я. Народ блевал, кто-то свалил оттуда, но большинство остались, продолжали танцевать, это было совершенно завораживающе, прямо полное безумие. Ах, так ты был там, говорит она. Конечно, говорю я с ухмылкой. Тогда она вспоминает историю о жестоком празднестве в «The Globe», театре Шекспира в Лондоне, о кровавой оргии, произошедшей в XVII веке, и она рассказывает, что была там, что участвовала в оргиастическом кровопролитии, что она помнит это, будто все произошло вчера, я говорю, интересно, давай подробнее, мы смеемся, и я вижу большое родимое пятно у нее на щеке, с краю, у самого уха, я наклоняюсь и вижу, что оно покрыто маленькими волосками, светлым пушком, растущим на коричневом или черном. Пятно, как тебя зовут? — спрашиваю я, и она качает головой и улыбается, как будто с издевкой, и вытаращивает глаза, и говорит: По крайней мере не Эвридика, бродяга, и я жалею о том, что принял ешку, но уже слишком поздно, я говорю ей об этом, и она пожимает плечами, что это мой провал, и мы разговариваем, и через некоторое время я чувствую, что начинаю плыть, ее голос звучит странно, ускоренно, пискляво, и

она говорит, мне жаль, но это твой провал, и она трогает меня, и ее касание мягкое и приятное, и я говорю, да, жаль, я хочу остаться и поцеловать ее, но тело двигается, дергается, и я говорю, прости, мне надо идти, наклоняюсь и чмокаю ее в щеку, она еще мягче, и я растворяюсь в ее теле и хочу там остаться, но поворачиваюсь и захожу в лабиринт странного света и звука, в автономное пространство, в отдельное время, находиться здесь тоже тепло и мягко, но оно быстрее, пульсирующий, дразнящий и обволакивающий танец, и я пытаюсь поймать звуки телом, и утечь, и раствориться, и пытаюсь поймать глазами свет, красные и зеленые лучи пробивают голову, а потом кто-то трясет меня. Ты в порядке? — спрашивает она, лучше, чем в порядке, потрясающе, или как сказать, так приятно, когда ты прикасаешься к моему плечу, знаешь, и потом накатывает новая волна звуков, втекает в меня, и я думаю, где ты, Арго, куда ты делся, я по тебе скучаю, хочу, чтобы ты меня обнял, и отталкиваю эту мысль, что-то колет в боку, но я умею отгораживаться от плохого, я знаю, что надо делать, мужик снова спрашивает, вдалеке, ты нормально? Глаза закатываются. Да, черт возьми, конечно, я нормально, в чем проблема, все о’кей,

говорю я, все о'кей, я справлюсь, и потом это продолжается и продолжается, и потом зажигают лампы, и все вокруг становится уродливым, наполненным звуками, врезающимися в мозг, и тем, что подползает к затылку, когда я понимаю, что жить теперь будет больно некоторое время, и мне хочется пить, и я пытаюсь найти что-то, что облегчит и отложит страдания, но всё сейчас режет, вокруг грязь и толчея, все размыто, ярко, ослепляюще, какой-то мужик клянчит у меня таблетки, я пристаю к кому-то другому, мы не знакомы, выходим на улицу, я разговариваю с кем-то, кого тоже не знаю, о том, можно ли пойти с ними на афтерпати, он выглядит так, как будто ему наступили на лицо, думаю я, кто-то смотрит на меня с отвращением, афтерпати они называют «нахшпиль», кто-то протягивает мне дорожку, я не знаю, что это, но втягиваю в голову, наверное, кетамин, втягиваю далеко, до самого верха, как будто у меня для этого есть специальный карман в самом верху черепа, светящийся пузырь медленного света и большой силы, я ищу Арго, чувствую себя, как розовая пантера или как тот чувак с глупой походкой, все исчезают вокруг меня, я сижу в такси с еще большим количеством незнакомых людей, считаю свои деньги, только

мелочь, остальные разговаривают, я долго смотрю на их лица, думаю, что, может, кого-то из них я все-таки должен знать, но нет, никого не узнаю, и мы выходим около станции метро, которую я никогда раньше не видел, и странным образом не могу найти вывеску или что-то, что укажет на то, где мы, мы идем мимо автобуса, то есть мимо автобусной остановки, где стоят настоящие люди, и мне кажется, что они на меня пялятся, я говорю им, что все нормально, все совершенно нормально, не понимаю, что хочу этим сказать, потом мы заходим на узкую лестницу, на полу лежит одежда, кожаный ремень, который я надеваю себе на шею, в шутку, но собираюсь его украсть, потом наверх, на два-три этажа, как в кино, люди лежат на полу в спальне, еще в комнате играет музыка, что-то легкое, мерзкий чилаут, у которого есть своя какая-то функция и который хорошо сочетается с крутящейся по телику порнухой с медсестрами, я нахожу пластинку «The Pearl» — «Жемчужину» Бадда и Ино — и включаю трек, но один чувак взбухает, говорит, что это депрессивно, что у народа может начаться бэд-трип, опасные переживания, и кто-нибудь покончит с собой, я говорю, что он конченый имбецил, и если бы я не был так обдолбан, то вдавил бы ему

переносицу прямо в мозг, и я задаюсь вопросом, откуда вся эта агрессия, и сажусь на пол, у меня кружится голова, милосердие, прояви немного милосердия, думаю я и вижу перед собой на ковролине большую ступку, похожую на мрамор, это наверняка пластмасса, но нет, какая-то девушка действительно толчет в ней таблетки и передает по кругу кусочек стекла и зеркало, или CD-диск, я слизываю с блестящей поверхности и с чьего-то рта, я не очень разглядел, что это, но, наверное, CD-диск, а на лестнице они друг у друга отсасывают, мне вспоминаются итальянцы, младенец в сквоте, мне вдруг становится нехорошо, в разных смыслах, нужно поменять трек, я выхожу на кухню, сажусь за стол, пялюсь в декольте, потом кто-то дает мне по щеке: ау, с тобой все о'кей? — спрашивает она, конечно, о'кей, нет, еще лучше, я счастлив, и я прислушиваюсь, они говорят об облавах, я говорю, что охренеть как ненавижу мусоров, всей душой, говорю я, и рассказываю о своем детстве, о том, как мы их ненавидели, когда я был ребенком, как кидали камни в мусорские машины, как мы сожгли отделение полиции, и я выдаю им какую-то слезную историю из детства, она их трогает и удивляет, я чувствую себя немного клоуном, но все равно

продолжаю трепаться, и мы курим и пьем обычную приготовленную кем-то воду с лимоном, а может, там был сахар, или это вообще лимонад, короче, вкусно, чрезвычайно вкусно, я сижу и говорю уже не знаю о чем, я высказываюсь за что-то или против чего-то, но трое или четверо сидят вокруг меня и слушают, передают по кругу косяк, а я говорю, и двое из них засыпают, и я говорю еще больше, и потом я выбираюсь из кухни, и прохожу мимо парня с диском, и думаю о том, как стукну его лбом по голове, но только улыбаюсь ему, и потом просыпаюсь в кресле, оттого, что кто-то втыкает нож прямо мне в затылок, я встаю и смотрю в окно, вижу салат и бокал белого вина, в уличном кафе, похоже, обед, и белоснежность белой футболки завораживает меня, или удивляет, или захватывает меня и причиняет мне боль, и я думаю о том, что нужно найти туалет прямо сейчас, боль раздирает мне голову, как будто от мозга вниз по позвоночнику прошла бритва, я иду в туалет, и встаю на колени перед унитазом, и пытаюсь выблевать острое, но оно застряло, оно врезалось намертво, я думаю, наверное, это смерть, и я почти хочу умереть, чтобы не чувствовать боль, сейчас она чистая и прозрачная, как льдинки, как будто мозг замерз и вот-вот сожжет

меня изнутри ледяным огнем, и я не хочу с этим жить, думаю я и сую пальцы в горло, глубоко, резкими, круговыми движениями, как будто трахаю себя в горло пальцами, думаю я, как будто у меня на лице манда, думаю я, и хотя все это просто невыносимо, мне хочется над этим смеяться, но я не могу, и наконец выходит немного жидкости, но от этого только болит живот и горло, и голова продолжает раскалываться и разрывать меня, и я думаю, что не выдержу, я не выдержу, что мне делать? — думаю я, что мне делать? что мне делать? — думаю я сотни раз и только хожу кругами в панике, как смешной глупый сиротка, все кажется нереальным, одиночество нереально, боль нереальна, нет, слишком реальна, одиночество тоже слишком реально, все спят, я брожу будто с ножом в голове, хожу кругами, не знаю сколько, кажется, часами, но наверняка минут десять-пятнадцать, кажется, будто целый день, а потом меня отпускает, всё это просто утекает, дальше, и я остаюсь совсем без сил, и я немного рад тому, что выжил, что живу, и снова ложусь в кресло, нахожу длинный окурок, который закуриваю, и снова засыпаю и сплю, просыпаюсь и звоню Диме. Братишка, как жизнь? Ну, вчера жестко, но сейчас опять штиль. Хочу немного

оторваться, чувак, вы где? На сортировочной. Я буду там. Яркие группки, которые можно найти в трущобах, часто таковы, что фотограф все равно делает снимки, хотя профессиональный и художественный инстинкты говорят ему о том, что в целом тут нет предпосылок для хороших кадров. В результате: плохой снимок, но далеко не такой удручающий, как сама натура. Как жизнь, Ди, вижу, ты с друзьями, говорит она и смотрит на меня. Я резко протягиваю кулак. Коди, говорю я. Белладонна Хекс, говорит она и широко улыбается. Но *ты* можешь звать меня Porca Miseria [83]. Я мнусь. Она смеется. Вдумчиво повторяет мое имя и берет меня за руку. Я осматриваюсь. Замызганные диваны и желто-зеленые стены, заклеенные плакатами и исписанные тегами, двое плачущих детей, один с усиками Гитлера, второй с членом на лбу и вагиной на подбородке. Шучу, очень приятно, господин Коди, они называют вас Кодеин? Хахаха. Простите, плохая шутка. Она поворачивается, чтобы открыть кассовый шкаф. На шее татуировка с логотипом «Metalheadz». Торчат позвонки. Я прикуриваю, и кто-то дает мне стакан минеральной воды с чем-то, потом

[83] Примечания: 83
Черт возьми (*ит.*).

говорит: Хочешь? Я выпиваю все залпом, легкое послевкусие мочи. Арго, Бекка, Якорд, Дима. Все были там. Все, кроме мамы и папы, хаха. А что с принцем, отсутствует, что это за монархия? Чем вы занимаетесь? Курва, помнишь, как всегда пахло кошачьей мочой, когда приходишь домой к Ольге, что-то там было с кофе, что-то с кислотой, аммиак, черт знает… Коди, значит? С буквой «си». Да. Давай, умри молодым, хаха! Что? Не поздновато ли? — говорит Бекка. Коди, хаха! Нет, не поздно. Граница проходит по двадцати семи или двадцати восьми годам, кажется, может, тридцати. А тебе сколько, восемнадцать, девятнадцать? Двадцать. Двадцать, видишь, полно времени. Хех. Давай, умри молодым, хаха. Ты не врубаешься? Да, не совсем. «Не совсем»… Черт, ты настоящий мачо, а, хаха. Мачо-Мэн. Что? Я? Нет. Подключаются остальные. Мачо-Смачо. Забей на нее. Ты знал, что Буффало Билла звали Коди? Кто, блин, этот Буффало Билл? Биффало Булл или Быкующая Бетта. Ага, вы треплетесь, как его, бредите, чтобы отвлечь или как, но я тоже умею трепаться, что вам, блин, надо? В ее глазах что-то сверкает, в тот же момент, как она привычными движениями смешивает субстанции, руки у нее покрыты шрамами и татуировками, ожогами: Дада. Как

хотите, могу поиграть, я тоже. Понимание переоценено: когда оставляешь дерьмо за спиной, обнаруживаешь, что сам целиком стал дерьмом. Так что лови момент, умри молодым сейчас, чувак, умри молодым сейчас, брат, умри молодым сейчас. Давай, умри молодым, умри молодым сейчас, умри сейчас. Коди, какой позор. Она дала мне рюкзак. Сказала: Отдашь его Словаку, он даст тебе деньги. Все просто. Не продолбайся. А потом она вышла, но оставила мне записку: Come On Die Young [84]. Что это значит? Она просто проверяет тебя, сказал Дима. Чего ты боишься? — хотел я ей сказать. Но это бессмысленно, поскольку невозможно понять, что она говорит. Как будто это белиберда или она разговаривает шифром. Нужно было типа присутствовать с самого начала или иметь гребаный справочник, инструкцию, как это называют на востоке, Дима? Легенда! Точно. Нужна гребаная легенда! А Хекс вернулся с улыбкой во весь рот. Crackers/buddyboo/8er [85], как говорили в былые времена, сука. Ты белый

---

[84] Примечания: 84

Давай, умри молодым *(англ.)*. Первые буквы слов образуют имя главного героя Cody.

[85] Примечания: 85

Цитата из романа «Киберпанк» Брюса Бетке. Фраза, появившаяся на экране компьютера, когда хакеры взломали сеть героя.

и необрезанный, будь добр продемонстрируй. Я слышал, что головки у вас более чувствительные, поэтому вы кончаете за три секунды. И не переносите старые добрые игры с покусываньями, всегда выбираете беззубых баб в борделе. Католик, говоришь? Никакого дерьма, можешь потом исповедаться, я хороший слушатель. Так, дружок, теперь серьезно. Судимости? Пристав? Сведения о неуплате? Подтвержденное злоупотребление? Биометрия? Хорошо, Коди, что-нибудь тебе найдем, у нас есть работа для всех, у нас есть место для каждого. Коди, пробормотала она, это все чертова ложь, типа умри молодым сейчас, мой друг, пока не поздно. Ну или погоди, делай, как хочешь. Неважно. Потому что в любом случае тот, кем ты сейчас являешься, умрет, и умрет молодым, либо из-за того, что ты останешься тем, кто ты сейчас, — и тогда эта жизнь тебя убьет, либо ты станешь другим человеком, человеком, который всегда носит в себе свой труп, понимаешь, как что-то, что определяет всё, стоит за всем и заполняет промежутки. Так что теперь ты знаешь, улыбнулась она. О'кей, можешь идти, читать свои Аве Марии. Pax vobiscum [86], или как

[86] Примечания: 86
Мир вам (*лат.*).

там это называется, поживем увидим, золотце.

Потом все замирает. Приходит ночь, заснуть не получается. Приходит день, и не получается думать и слушать. Кончики пальцев у меня стали мягкими и нежными, потому что я очень давно не играл. Кто-то разговаривает со мной, я напрягаюсь, пытаюсь сфокусироваться. Это не дом, говорит голос, это *приют*, Коди. Дрожат руки. Мы долго бродили по сельской местности, чтобы в полной мере прожить нашу бездомность. Мы приникали лицом к земле, плача, мы бдели и изливали свое горе. Мы не смыкали глаз ночами напролет и кричали, выплескивая свое отчаяние. Пятничным вечером, на дворе октябрь, осень, похолодало, я стою и жду Бекку, Диму и остальных, они появляются, и мы бредем дальше в огромный сквот, занимающий целый дом, все пять этажей. Тут же до хрена детей, говорю я Давиду, которого это, кажется, устраивает. Гребаная ребятня. Правда, полно детей, подростков, ну раннего подросткового возраста, браток, лыбящиеся и жующие жвачку идиоты, но да, все равно тут неплохо, четыре, пять этажей, на каждом все продумано, в каждой комнате — наблевано. Дада, осторожно, углы. Холодно, голо, дети, вырубившиеся у бетонных колонн. Что будем делать?

Позвоним маме? Да она сама наверняка в отключке этажом выше, чувак. А папа небось стоит и жрет ешки на лестнице. Честно говоря, музыка хорошая, но я не знаю, выдержу ли всю эту хрень, говорю я, однако меня никто не слышит. Тяжелая и грубая, или быстрая, или эйфоричная, или только жесткая музыка из треснутых динамиков, отрубленное электричество, никакого тепла, изо рта пар, убойный саундскейп, шумы, барабаны, бас, барабаны и звуковые ландшафты гармоний и дисгармоний. Два шага сюда и два шага туда. Пиратское радио и друзья-пираты. И все барыжат. Провода на потолке и провода на полу, вместо туалета дырки в полу, туда ссут и срут, вытираются чем придется. Или обходятся вообще без этого. Ты избалованная буржуйская сучка. Кто это говорит? Мне стыдно. Вижу себя будто со стороны: Вижу, как Бекка целует Коди и пихает ему в рот половинку ешки. Вижу молодежь в больших пуховиках, продающих все что угодно, и на тесной клаустрофобической лестнице вижу женщину с младенцем в слинге. Один парень написал себе на лбу «fok u», и он зажигает маленькую стеклянную трубку, она булькает и клокочет, и кто-то пискляво смеется у них за спиной. Дима щелкает по окурку, агрес-

сивно. Вот блин, тут младенец. Мы идем дальше, навязчивые барыги, прямо мне в лицо лезут своими глазами и пакетиками, пуховиками и побрякушками. Я оборачиваюсь. Она что, тут и правда стоит со своим, мать его, младенцем? Я останавливаюсь, но сейчас не время, они меня тянут. Не разговаривай, блин, с ними, у нас есть все, что нам надо. Белки́ глаз с лопнувшими сосудами, и дым, дым, пластик, пластик, сига, косяк, пакетик таблеток, пакетик порошка, конверты и трубочки, желтые полоски и красные полоски, белые линии, фиолетовые марки, розовые марки, зайчики «Плейбой», «мерседесы», бумажки, листы, сложенные купюры, пачки купюр, зажимы для банкнот, мерцает и блестит, чертовы клоуны, мы начинаем танцевать, серый пол, зажигай, чувак, Light it up motherfucker-light it up, серый пол черный воздух, ультрафиолет. Go ahead pass it — go ahead pass it. Серый пол черный пол, спертый воздух. Light that shit — pass that shit [87]. Мы начинаем танцевать, но серый пол, спертый воздух, мысли путаются. Ой, ой, ой, по-наркомански лыбится Бекка. Вообще ничего, жалуется кто-то.

---

[87] Примечания: 87

Зажги-ка, ублюдок — зажги. Давай, передай это — передай. Зажги это дерьмо — передай это дерьмо *(англ.)* – цитаты из трека Dj Rashad «Pass That Shit».

Can’t get high enough [88], шевелит губами Дима. Ах блин, пожалуйста, выпусти меня, нет сил видеть в этом чаду младенца. И эту мерзкую торчащую шлюху-мамашу. Настоящая шалава. Дно, говорю я Давиду. Я серьезно, братиш, меня перекроет, если я отсюда не выйду. А что такое, говорит Давид, тебе что, тут не нравится? Тут же круто. Да. Нет, я не могу, отвечаю я. Что такое, снежок? Котик Коди, мой сладкий голубоглазый принц-невинность, чувствуешь себя немного незащищенным? Что случилось? — спрашивает Давид. Я просто не тяну, говорю я. Мы уже не дети. Я становлюсь агрессивным. Кончится тем, что я кому-нибудь заряжу в лоб. Пошел ты. Ты, блин, становишься таким морализатором и буржуем, ведешь себя как мусор, когда дело касается детей, откуда, блин, тебе знать, что у какого-нибудь гребаного ребенка Сузуки и Монтессори жизнь лучше, чем у этого малыша? Что ты, блин, знаешь об этой телке? — говорит Давид. Да пошел ты, чувак, говорю я. Все присутствующие были разочарованы тем, что самая высокая местная гора была закрыта облаками, но как только солнце вдруг вырвалось наружу, а гора вышла из облаков, у него на гла-

[88] Примечания: 88
Не могу как следует кайфануть (*англ.*).

зах выступили слезы и он заскакал вокруг как ребенок, крича от радости: «Бог сделал это для меня! Бог хотел, чтобы я увидел его творение!» Я спускаюсь вниз и выхожу, покидаю их, покидаю здание, быстро, выдыхаю, слышу музыку, какофонию, звуки разных этажей вперемешку, они все еще слышны, точно не меньше чем за километр, пустые помещения индустриальных построек, виадуки, решетки, ограды, невидимые собаки, которые лают, странный ритм, когда ветер вырывает фрагменты звуков, звуков трех, четырех танцполов, гул, где-то гремит товарный поезд, я делаю паузу и выдыхаю, больше не несусь, иду домой сквозь ночь весь этот долгий путь, моросит дождь, меня предупреждали, я иду, ночь темная, вот пустой жилой массив, пара окон светится на пятом, седьмом, девятом этажах, но никаких машин, желтый свет, ярко-желтое сияние, темно-синие небо, черные кусты, здания, ритмичный треск у меня под ногами, позвякивание ключей, я чуть ли не вытанцовываю бас на первую и третью долю, бочка, малый барабан, римшот, и мои шаги, да, мелочь, или ключи в кармане, да, бум-чак-тик-клик, бум-чак-тик, бум-чак-тик-клик, бум-чак-тик, ботинки, подошвы, пульс учащается, когда я вижу тень, которая исчезает,

убеждаю себя в том, что здесь обычно ничего не происходит. Сколько раз ты вот так возвращался домой ночью, думаю я, и никогда ничего не происходило, или никогда ничего такого, из чего нельзя было бы выкрутиться болтовней, или от чего убежать, в худшем случае отделаться дракой. Мелкие инциденты случались, но ничего серьезного и на самом деле ничего такого, чего не могло бы произойти днем. Нож я не ношу, нож я больше не ношу, неясное ощущение, как будто я снова ребенок, боящийся темноты, эти мурашки по спине, сильный импульс, обернись, беги, прячься, ты не справляешься, не можешь устоять, но я продолжаю идти, пересиливаю тело, игнорирую импульсы, захожу в тоннель, вспоминаю, что Таня называла такие переходы тоннелями насильников, и захожу туда, где свет более яркий, холодный, больше зеленый и голубой, и вижу теги новичков, как у брательника, когда мы пытались его научить, братишка, когда лицо у него было в краске и он бесился, что не получается закручивать линии так, как хочется, его узкие запястья и шипение баллона с краской, его пшш пшш пшш, и беги со всей дури, братик. Брат, где он сейчас, почему я ему не помог, почему его предал, прости меня, братик,

прости, а свет в тоннеле по-прежнему яркий, я еще здесь, тут холоднее, чем снаружи, да более зеленый и голубой, и кое-где на земле мусор, и я наклоняюсь к стене, к линиям, пятнам и закуриваю припасенную дурь, и выхожу, оказываюсь в плотной темноте, слышу шум шоссе и думаю только: иди-иди-иди, да, не останавливайся, мне это нравится, странно ведь, мне нравится бояться, странно ведь да, или мне просто нравится ощущение после, когда ты выкрутился, ничего не случилось, какой-то адреналин, да, ты один, темно, вся фигня, которая происходит, ты знаешь, что она происходит везде, всегда, но не здесь, так ты думаешь, не сейчас, не за темным фасадом, не в этом тоннеле, никаких грабителей, никаких нациков, но если что-то случится, пеняй на себя, тебя предупреждали, не ходи домой один ночью, тебя ограбят-убьют-забьют до смерти-изнасилуют, не делай так, не делай так, но я всегда так делал, ходил один, ходил один домой ночью, когда все остальные отправлялись домой, когда все заканчивалось, я делал вид, что тоже иду домой, но вместо этого забредал в какой-нибудь магазин и покупал пиво, или вино, или водку и садился на лестнице в уголок, было так тихо, и темнота в парке окутывала так плотно, я докурил остатки

гашиша, и прислонился спиной к грубой кирпичной стене, и что-то почувствовал, что-то большое, я почувствовал, что еще поживу немного, пару лет, что я не мертв, пока нет, я почувствовал себя счастливым. Может, я не заслужил этого, но был счастлив. И конечно, я понимал, что все это бред. Все это криво и неправильно. И недолговечно. И я буду, и должен быть так или иначе наказан за это, рано или поздно, очевидно, несомненно, но это чувство не задержалось, оно ускользнуло, я наступил на него, пошел дальше, и рассмеялся над этим всем, и тут же ощутил, что за это я тоже должен быть наказан, но и это не задержалось во мне, потому что я ощутил благодать, почувствовал, как она снисходит на меня и проходит сквозь, вверх, вниз, не знаю, но я чувствовал, как что-то течет. Конечно, наказание было неминуемо, но его время еще не пришло, сейчас царила благодать, сейчас я сидел в темноте на каменных ступенях и тело переполняла невероятная сила, жизнь, я сидел в тишине, взял зажженную сигарету, и прижал ее к предплечью, и держал огонек на тонкой коже с тыльной стороны руки, и держал его столько, сколько мог, до тех пор пока не выдержал, и я выпил остатки, и затушил сигарету, и пошел домой, и дома в стакане на

кухонном столе оставалось немного водки, и я выпил ее залпом, и включил радио, прокрутил до спокойной ночной передачи, услышал хор, и лег на кухонный пол, и увидел висящие у себя на магните ножи, и я встал, и взял два самых больших, по одному в обе руки, и снова лег на пол, и некоторое время лежал ровно, чувствовал энергию, и покой, и тишину, и что мне нужно еще немного пожить, еще чуть-чуть, может, еще пару лет, все было хорошо, спокойно, мое тело правда все это в себя вмещало, оно тянулось от глубокого потока темной мути подо мной, которая тоже была частью меня, от холодных пещер с покрытыми влагой сталагмитами и сталактитами, проходов и ответвлений, и еще проходов, все более и более тесных, уходящих глубже и глубже в земную кору, которая тоже была моим телом, оно тянулось от этого подземного мира наверх, к поверхности, и к грудной клетке, и голове, встречающейся с миром, и к ногам, и рукам, и ножам, на остриях которых все скапливалось в виде концентрата, на маленькой поверхности, которая может проколоть, может воткнуться в тело, и я так и лежал, и это укачивало меня с невероятной силой, и я чувствовал, что тело живет и будет жить еще какое-то время, и так я уснул, такой

счастливый, в какой-то мере пораженный тем, что иногда все может быть так просто, ясно и понятно, именно в тот момент, ночью, когда везде потушен свет, когда все спят, когда все отдыхает, только одинокие ночные существа крадутся в темноте, и не спит одно-другое всевидящее око копа, но в целом спокойно и хорошо, и я забрался наверх на виадук, где Суут однажды упражнялся в своем диком стиле, через ограждение на южной стороне, чтобы не идти к главной лестнице в обход, осторожно, чтобы не порвать куртку, и я зашел на вокзал с задней стороны, спрыгнул вниз у почтовых грузовых платформ, увидел, что одни ворота открыты и там сидели и курили двое, я поднял руку и кивнул для приветствия, но они не ответили, только с подозрением на меня посмотрели, а я плюнул на землю, почувствовал, как подступает голод, и пошел к автобусному вокзалу, проверил расписание, и посмотрел на часы, и подумал обо всем, что произошло именно в этот момент, именно сейчас, именно вот сейчас, и потом я посчитал мелочь в кармане, пошел и купил стаканчик чая, опустил туда семь кусков сахара так, что дама за прилавком ничего не заметила, сел на тротуар, и закрыл глаза, и начал пить, и вспомнил Диму и остальных и то,

что сейчас я о них думаю, и сейчас это уже случилось, и сейчас я живу, но скоро это закончится, и сейчас мы живем, и кто-то сейчас умирает, и я снова думаю, что кто-то умирает сейчас, прямо сейчас, что это случается снова, и снова, и снова, в множестве разных мест, по множеству разных причин, совершенно разным образом, и имеет разное значение, и я думаю о том, что мы обычно говорим, покойся с миром, и я думаю, что тот, кто умирает, на самом деле покоится, действительно покоится, что так и есть, что должно быть так, что когда человек умирает, то никто уже не может причинить ему вреда, так зачем все это горе, когда близкие покидают нас, почему мы не радуемся вместе с ними? Почему мы не умеем радоваться тому, что происходит вне поля нашего зрения, тому, что происходит, когда мы отворачиваемся, что происходит в одном месте, в то время как я живу в другом. И как раз, когда я обо всем этом думаю, когда я уже встал и пошел, когда я думаю о смерти, и похоронах, и покое, и всем этом, о радости, о поле зрения, перспективе, о влиянии места на всё, на способ мышления, на способ ви́дения, на то, как мы слушаем, пробуем, чувствуем, и все вот это, когда я думаю, что мне надо домой, лечь, я так устал, хочу только спать,

хочу только лечь и заснуть, дать отдохнуть своему телу, своему мозгу, то слышу голос, кто-то говорит: Эй, брат. И я оборачиваюсь, и он идет типа в трех, четырех метрах позади меня, быстро приближаясь. Белая кофта и большие блестящие часы на руке. Эй, купишь? Кокс, скорость, трава, колеса, герыч? Я мысленно посмеиваюсь, нет, достаточно, думаю я, на сегодня хватит. Я так устал. Нет, спасибо, улыбаюсь я, не нужно, и тут он подходит ко мне, близко, и говорит: Купи у меня, ты должен у меня купить, и его лицо очень близко к моему, и я чувствую: что-то не так. Купи у меня, повторяет он. Спокойно, браток, говорю я, продолжая улыбаться. Спокойно. И я говорю, что у меня нет денег, понимая, что неправильно это говорить. Какое он имеет к этому отношение? Тут прилетает первый удар, в лицо, и меня охватывает удивление и непонимание того, что происходит. Затем пинок в грудь и еще пара ударов, не очень сильных, но те, что прилетели в лицо, как будто продолжают обжигать, горят, как пульсирующее тепло, почти приятное и приносящее удовольствие, хотя тревога и страх растут в животе и груди, и где-то в мозгу все встает на свои места, и я вижу его, он похож на слепого, с пустыми глазницами вместо глаз, и

все время повторяет «купи, ты должен купить», и головокружение прекращается, все замедляется, я кое-как прихожу в себя, страх превращается в волну гнева, ко мне возвращается равновесие, я фокусируюсь, беру себя в руки, и иду на него, и бью, не знаю, сколько ударов, три, может, четыре и хватаю его за волосы, бью коленями в голову, мы падаем, и я продолжаю бить, и вдруг замечаю, что он полностью обмяк и перестал сопротивляться, я поднимаюсь, он лежит неподвижно, а голова как будто под углом прислонена к островку безопасности, и я оглядываюсь, кто-то идет ко мне, я поворачиваюсь к ним спиной и ухожу или убегаю вполсилы, на вокзал, в зал ожидания, проскальзываю в туалет и смываю кровь, пью воду из-под крана, руки дрожат, и меня подташнивает, пытаюсь успокоиться, иду к большому табло, высматриваю время и путь, сажусь и жду, поднимаю глаза к лампам дневного света и будто вижу, как они мигают, будто ужасно быстрый стробоскоп, и думаю, что, наверное, только я сейчас это вижу. Все остальные видят единый поток света, непрерывное свечение, но я вижу, как оно прерывается, как мигает, я замечаю промежутки, и у меня все жжет и болит: скула, грудь, костяшки, виски. Сейчас придет коп? Что на самом деле про-

изошло? Я поднимаю глаза к телику, на котором сменяются черно-белые кадры с марионетками. Да-а, это правда, говорит пожилая женщина, в приходских помещениях мы играли в бадминтон, боулинг, шахматы и много во что еще. Одна лига, все члены которой имели бандитское прошлое, начала заниматься театром марионеток. Они назвали себя «Кукловоды Рииса» и выступали на разных благотворительных мероприятиях и по радио. Когда меня перестало сильно трясти, я закурил и сел в подошедший поезд. Как мне сейчас плохо, думаю я. Дома, окна, улицы, деревья, все проносится мимо. Я схожу с поезда и брожу. Меня тошнит, и я долго брожу по округе. Я не знаю, куда мне нужно идти или что делать. Сига заканчивается, и у входа в торговый центр я начинаю искать окурки. Мне кажется, что люди на меня смотрят, и я натягиваю капюшон. Я курю окурки и пытаюсь сообразить, что мне дальше делать, но у меня ничего не выходит, потому что каждый раз, как я обдумываю одну мысль, одновременно приходят еще сто мыслей, и я не могу их отделить друг от друга. Я понимаю, что мне нужно поспать, но не знаю где, и мне слишком больно, я не смогу заснуть, что-нибудь не приняв, а у меня ничего нет, и денег у меня тоже нет. Я хожу типа кругами

или вперед и назад у канала, рядом с ночлежкой, думаю, что, может, встречу кого-то, кто продаст мне что-нибудь в долг, так что я смогу уснуть и решить всё потом, но мне кажется, я не справлюсь, и к горлу подступают слезы, я сажусь на скамейку и несколько секунд плачу, но быстро собираюсь и понимаю, что в груди болит слишком сильно, чтобы это не замечать, и что мне нужно в отделение «неотложной помощи» или хотя бы в поликлинику. Я встаю со скамейки и иду дальше. Некоторое время спустя я прохожу мимо парня, который стоит и курит около моста через канал, недалеко от изолятора, и я обращаюсь к нему, проходя мимо, и спрашиваю, не будет ли у него монетки для бездомного. Он холодно меня разглядывает, одновременно щупая карман, и достает двадцатку. Он протягивает мне ее с молчаливым «пожалуйста» и я беру ее и засовываю в карман куртки. Я хочу попросить еще и сигарету, но слова будто застревают у меня в груди, и я чувствую, как она болит и как перекашивает лицо. Он курит и смотрит на меня, как будто ждет, что я что-то сделаю, либо уйду, либо что-то скажу, попрошу еще что-нибудь, и не знаю почему, но я просто стою на месте, смотрю на его руки, на огонь и дым, и наши взгляды встречаются, и я чувствую,

что он в каком-то смысле стабилен, что я могу ему доверять, и потом слышу собственные слова: Я не знаю, где мне ночевать, и меня вчера избили. Он прищуривается и смотрит на рану у меня на лице. Кто тебя избил? — спрашивает он. Я пытаюсь ответить, пытаюсь объяснить, но получается только невнятное бормотание. Я хочу рассказать, но не могу. Я только трясу головой и плюю на землю. Я должен… заговариваю я, но остальное исчезает, и я немного морщусь из-за рубящей боли. Я ощущаю жажду, а он говорит: Тебе бы в поликлинику или типа того, брат. Я смеюсь, он не выглядит тем человеком, кто бросается словом «брат» направо и налево, и снова чувствую удар боли. Черт, говорю я, я сейчас шел и думал о том же самом, прикинь. Да, звучит хорошо, говорит он. Выглядит не очень. Всего хорошего, чувак, говорю я. Он поднимает руку. Береги себя, брат. Я поворачиваюсь к нему спиной и ухожу. Пошел ты, «брат», думаю я. Боль становится все сильнее, я думаю о том, что нужно ехать в «неотложку», нужно придумать какую-нибудь историю, где я был, и что случилось, чтобы они не подключили копов. Теперь у меня хотя бы есть деньги на автобус, думаю я и обхожу квартал, чтобы пойти на Центральный вокзал, к остановкам автобусов.

Я прохожу мимо девушки, у которой стреляю сигарету, и сажусь на ступеньки и выкуриваю ее. Я клюю носом и встаю, чтобы не заснуть прямо там, на земле. Чуть поодаль стоит непристегнутый велосипед, прислоненный к электрощиту. Не увидев никого поблизости, я быстро хватаю его, запрыгиваю на седло и успеваю проехать приличное расстояние по перекрестку, прежде чем замечаю, как на меня на слишком высокой скорости несется автобус. «Брат», думаю я.